

У М Б Е Р Т О

Ж

ИМЯ
РОЗЫ



Умберто Эко
Имя розы

От переводчика

До того как Умберто Эко в 1980 году, на пороге пятидесятилетия, опубликовал первое художественное произведение – роман «Имя розы», – он был известен в академических кругах Италии и всего научного мира как авторитетный специалист по философии средних веков и в области семиотики – науки о знаках. Разрабатывал он, в частности, проблемы взаимоотношений текста с аудиторией, как на материале литературы авангарда, так и на разнородном материале массовой культуры. Несомненно, и роман Умберто Эко писал, помогая себе научными наблюдениями, оснащая свою «постмодернистскую» интеллектуальную прозу пружинами увлекательности.

«Запуск» (так говорится в Италии) книги был умело подготовлен рекламой в прессе. Явно привлекло публику и то, что Эко на протяжении многих лет ведет в журнале «Эспрессо» рубрику, приобщавшую среднего подписчика к актуальным гуманитарным проблемам. И все же реальный успех превосходит все ожидания издателей и литературоведов.

Экзотичный колорит плюс захватывающая криминальная интрига обеспечивают интерес к роману массовой аудитории. А значительный идейный заряд в сочетании с ироничностью, с игрой литературными ассоциациями привлекает интеллектуалов. Кроме того, общеизвестно, до чего популярен сам по себе жанр исторического романа и у нас, и на Западе. Эко учел и этот фактор. Его книга – полный и точный путеводитель по средневековью. Энтони Берджесс пишет в своей рецензии: «Люди читают Артура Хейли, чтобы узнать, как живет аэропорт. Если вы прочтете эту книгу, у вас не останется ни малейших неясностей относительно того, как функционировал монастырь в XIV веке».

Девять лет, по итогам национальных опросов, книга держится на первом месте в «горячей двадцатке недели» (на последнее место в

той же двадцатке итальянцы почтительно помещают «Божественную комедию»). Отмечается, что, благодаря широкому распространению книги Эко, сильно увеличивается число студентов, записывающихся на отделение истории средневековья. Не обошел роман читателей Турции, Японии, Восточной Европы; захвачен на довольно большой период и североамериканский книжный рынок, что очень редко удается европейскому писателю.

Один из секретов такого ошеломляющего успеха открывается нам в теоретической работе самого Эко, где он рассуждает о необходимости «развлечения» в литературе. Литературный авангард XX века был, как правило, отчужден от стереотипов массового сознания. В 70-е годы в западной литературе, однако, вызрело ощущение того, что ломка стереотипов и языковой эксперимент сами по себе не обеспечивают «радости текста» во всей полноте. Стало ощущаться, что неотъемлемый элемент литературы – удовольствие от повествования.

«Я хотел, чтобы читатель развлекался. Как минимум столько же, сколько развлекался я. Современный роман попробовал отказаться от сюжетной развлекательности в пользу развлекательности других типов. Я же, свято веря в аристотелевскую поэтику, всю жизнь считал, что роман должен развлекать и своим сюжетом. Или даже в первую очередь сюжетом», – пишет Эко в своем эссе об «Имени розы», вошедшем в настоящее издание.

Но «Имя розы» – не только развлечение. Эко сохраняет верность и другому принципу Аристотеля: литературное произведение должно содержать серьезный интеллектуальный смысл.

Бразильский священник, один из главных представителей «теологии освобождения» Леонардо Бофф пишет о романе Эко: «Это не только готическая история из жизни итальянского бенедиктинского монастыря XIV века. Бесспорно, автор использует все культурные реалии эпохи (с избытком деталей и эрудиции), соблюдая величайшую историческую точность. Но все это – ради вопросов, сохраняющих высокую значимость сегодня, как и вчера.

Идет борьба между двумя проектами жизни, личными и социальными: один проект упорно стремится к сохранению существующего, сохранению всеми средствами, вплоть до уничтожения других людей и самоуничтожения; второй проект стремится к перманентному открыванию нового, даже ценой собственного уничтожения».

Критик Чезаре Дзаккариа полагает, что обращение писателя к жанру детектива вызвано, кроме всего прочего, еще и тем, что «этот жанр лучше других смог выразить неумолимый заряд насилия и страха, заложенный в мире, в котором мы живем». Да, несомненно, многие частные ситуации романа и его главный конфликт вполне «прочитываются» и как иносказательное отображение ситуаций нынешнего, XX века. Так, многие рецензенты, да и сам автор в одном из интервью, проводят параллели между сюжетом романа и убийством Альдо Моро. Сопоставляя роман «Имя розы» с книгой известного писателя Леонардо Шаши «Дело Моро», критик Леонардо Латтаруло пишет: «В их основе лежит вопрос этический по преимуществу, обнажающий непреодолимую проблематичность этики. Речь идет о проблеме зла. Это возвращение к детективу, осуществляемое, казалось бы, в чистых интересах литературной игры, на самом деле устрашающе серьезно, ибо целиком вдохновлено безнадежной и безысходной серьезностью этики».

Теперь читатель получает возможность познакомиться с нашумевшей новинкой 1980 года в полном варианте^[1].

Разумеется, рукопись

16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842)^[2]. Автором перевода значился некий аббат Балле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV в., разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная.

В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift^[3]. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.

Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Балле, в чем безусловно не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все,

с чем я остался тогда, – стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе.

Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к разысканиям. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная:

Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomatum, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. – Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azimo et Fermentatio, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis^[1].

Vetera Analecta я тут же заказал в библиотеке Сент-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Балле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя: здесь – Montalant, ad Ripam P. P. Augustianorum (prope Pontem S. Michaelis)^[4]. Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Адсона Мелькского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Адсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состоит из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Балле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что

единственное существующее издание *Vetera Analecta* – это то, которым я пользовался в Сент-Женевьев. Посетив Ласурсское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом отцом Арне Лаанештедтом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Балле никогда не публиковал книг в типографии Ласурсского аббатства; похоже, что и типографии при Ласурсском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Балле теперь оказывалась вне досягаемости (в общем, я не видел способа получить ее обратно). Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия.

Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого («*en me retraçant ces details, j'en suis á me demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés*»). Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг.

Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970-м году в Буэнос-Айресе, роюсь на прилавке мелкого букиниста на улице Коррьентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара «Об использовании зеркал в шахматах», на которую уже имел случай сослаться (правда, из вторых рук) в своей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора – «Продавцы Апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание – Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мелькского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата

Балле и не отца Мабийона, а отца Атанасия Кирхера (какую именно его книгу – не уточнялось). Один ученый (не вижу необходимости приводить здесь его имя) давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде (а содержание всех трудов Кирхера он цитировал на память) великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мелькского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Балле (в частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может). Что бы ни писал впоследствии Беньямино Плачидо^[5], аббат Балле существовал на свете – как, соответственно, и Адсон из Мелька.

Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования; как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия; ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство, а разнородные рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка; вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции (то есть где-то между Леричи и Турбией). Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно – конец ноября 1327; а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последнее десяти- или двадцатилетие XIV века.

Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен являть собой переложение с латинского издания семнадцатого века, якобы воспроизводящего рукопись, созданную немецким монахом в конце четырнадцатого.

Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался: во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII и XIII веку.

Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Балле довольно свободно обошелся с оригиналом – и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого»^[6], текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон может цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а, между тем, некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса^[7] или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте, – в издании эпохи Тюдоров^[8]. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Балле переписывал (так ли?) воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII в. «Большой» и «Малый» Альберы^[9], уже с совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс^[10], схолий^[11] и прочих приложений, но использованных

последующими поколениями ученых.

Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Балле не переводил на свой французский – возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним: только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил, и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где, если герой француз, он обязан говорить «parbleu!» и «la femme, ah! la femme!».

В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг – призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего, странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.

Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Балле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоилось, признав за писателем право на чувство собственного достоинства и что писать можно из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.

Это повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности; прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем^[12]: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его – в углу, с книгою».

5 января 1980 г.

Примечание автора

Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день – на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав скорее всего добавлены г-ном Балле. Однако для читателя они удобны, и, поскольку подобное оформление текста не расходится с италяязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.

Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.

Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти путем сличения правила Св. Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы Бенедиктинцев»^[13], следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:

Полунощница (Адсон употребляет и более архаичный термин *Бдение*) – от 2.30 до 3 часов ночи.

Хвалитны (старинное название – *Утренняя*) – от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.

Час первый – около 7.30, незадолго до утренней зари.

Час третий – около 9 утра.

Час шестой – полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой, это также час обеда).

Час девятый – от 2 до 3 часов дня.

Вечерня – около 4.30, перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).

Повечерие – около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.

При расчете учитывалось, что в северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.

Пролог

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока денно и ночью твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ея зрим токмо *per speculum et in aenigmate*^[14], и она истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (уввы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленною ко злу.

Близясь к закату греховного существования, в седилах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременяя тяжелой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергаменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую *verbatim*^[15] лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования пронизать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.

Сподобил меня Владыка небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, хриstopродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл святое имя апостола

(сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).

Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века – и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, – если, конечно, память справится с запутанными нитями из множества клубков.

В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий^[16]; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною священной империи римской и возродить высшую мирскую державу, как было при цезарях.

На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола – вот он, очаг злейшей в мире распри.

Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик^[17] взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и неспособны понять, что мир – наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах;

все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.

В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фредерика. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул^[18] братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский^[2], склонив слух к требованиям «мужей духа» – «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил, как истину веры, положение о бедности Христа, который со своими апостолами, если и владел чем-либо, то только *usus facti*^[19]. Достойнейшее утверждение, признанное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился, как единоличный глава церкви, воспретить империи избирать епископов, при этом сохранив за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии^[20] *Cum inter nonnullos*.

Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных соратников. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов – Марсилия Падуанского^[21] и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фредериком союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека – кроме Угучона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал Шарра Колонна, господина той области.

Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской^[3] обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бившегося у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил везти меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовалось юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то, по совету любившего меня Марсилия, и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения – ради чего и тружусь ныне – в памяти тех, кто придет за нами.

Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря – не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения – неотступного, как я видел, – что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянувшихся от Пизы до перевала Св. Иакова, покуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись,

противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.

Впредь не займу сии листы описанием внешности людей – кроме случаев, когда лицо, либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Бозэцию^[22], всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он и все с ним жившие – ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела. (Только дух, волею Господней, сияет в вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обыкновенные черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.

В мое время люди были красивы и рослы, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон^[23] ходит в лупанарии, Лукреций^[24] обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бесчисленные Господу хвалы за то, что я успел воспринять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.

Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, пронизательный. Тонкий, чуть крючковатый

нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в моменты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками – их много у тех, кто рожден меж Гибернией^[25] и Нортумбрией^[26], – могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, думал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.

Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала. Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единым мускулом лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманящего зелья, – когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтоб жевать в минуты высшего напряжения сил (немало их ждало нас в монастыре!). Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах к простецам различаются *paidikoī*, *erhebikoī* и *gynaikoī*^[27], так и с травами: что здорово старику францисканцу, негоже юному бенедиктинцу.

Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В

дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте^[28], в сокровищнице походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей-траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки – можно подумать, только для удовольствия (а кругом в это время все множились трупы зверски убитых монахов). Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если б он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же отвечал, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.

Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что на мой взгляд пристало скорее механику (меня же учили, что всякий механик – тоесус^[29], прелюбодей, изменяющий умственной жизни, с коей чистейшим сочетавался браком). Но руки его, когда он трогал что-то непрочное – свежайшие, еще сырые миниатюры или съеденные временем листы, ломкие, как опресноки, – двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогает свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал «чудными орудиями». Орудия, говорил он, рождаются от искусства, которое обезьяна природы и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто

неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил: «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рогир Бэкон^[30], наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратится к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки “без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздусех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах”. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».

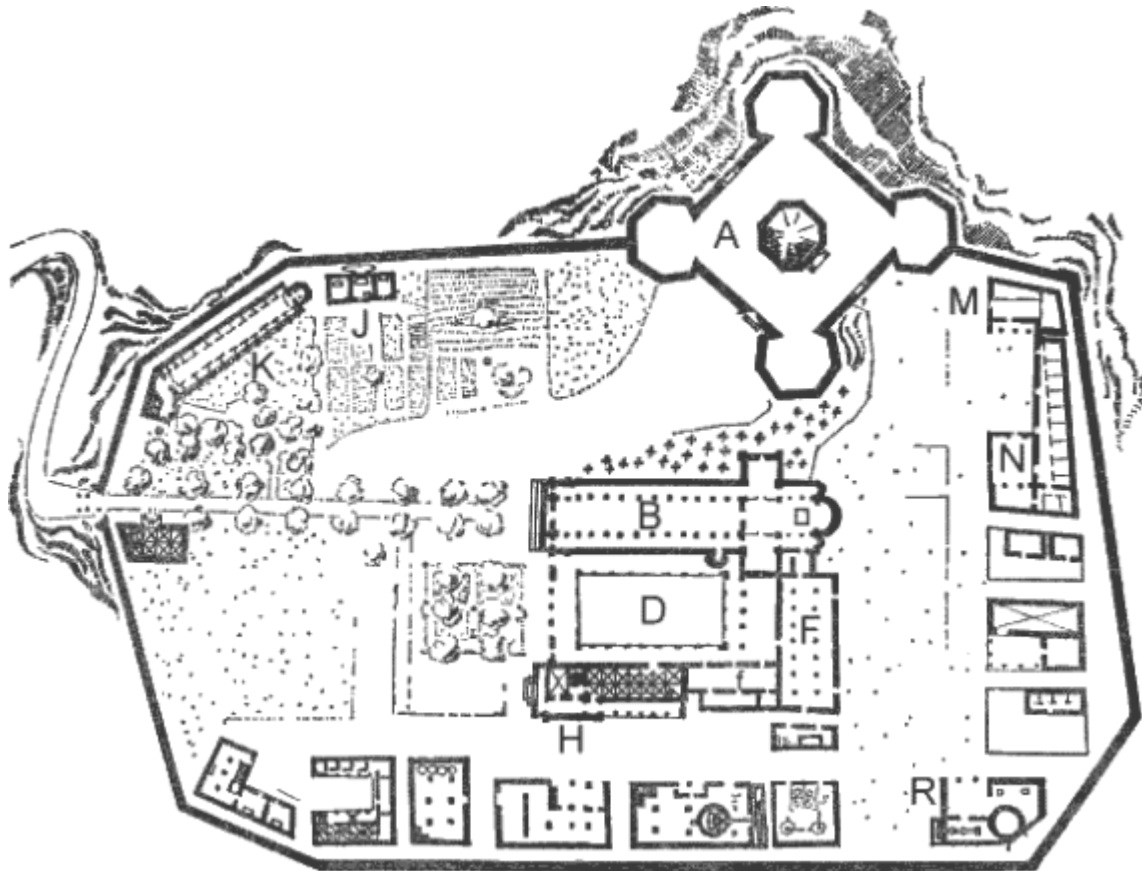
Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об одной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам^[31] и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту беспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.

Вот, рассказал я о брате Вильгельме – видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных

наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его действий в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и претрашных, это несомненно.

Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах (их вспомяну при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.

Аббатство



A – Храмина. B – Церковь. D – Церковный двор. F – Спальный корпус. H – Капитулярная зала. J – Купальня. K – Лечебница. M – Выгребная яма. N – Конюшня. R – Кузни

День первый

Первого дня
Час первый,
где описано прибытие к подножию аббатства,
причем Вильгельм проявляет величайшую
проницательность

Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен – такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, – а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле, и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных числ, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь –

число совершенства любого квадрата, четыре – число евангелий, пять – число зон неба, семь – число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок Даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.

Однако не скажу, чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого, что слишком заметны были дурные знаки, проявившиеся на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в святое хранилище слова Божия.

Наши мулы вскарабкались на последний уступ взезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.

«Богатое аббатство, – сказал он. – Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».

Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом слышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал:

«Пожалуйте, отец мой, – сказал он, – и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я – Ремигий Варагинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты, – обратился он к кому-то из свиты, – ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»

«Благодарю, отец келарь, – учтиво ответил учитель, – и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет – слишком умен».

«Вы когда его видели?» – спросил келарь.

«А мы его не видели, верно, Адсон? – Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. – Но это неважно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».

Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»

«Уж знаю, – ответил Вильгельм. – Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши острые, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».

На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю, грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку – славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца.

«А теперь откройте, – не утерпел я, – как вы догадались?»

«Добрейший Адсон, – отвечал учитель, – всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский^[32]:

всей вселенной нам творенье –
будто бы изображенье,
книга или зеркало, –

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них – яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие на левую тропу. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей – именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос... Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».

«Да, – кивнул я. – Но маленькая голова, острые уши, большие глаза...»

«Не знаю, что там на самом деле. Но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским^[33], что лучшего коня

“стать такова: невелика глава и плотно шкурою до кости облеплена, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны”. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, – тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, – если это ученый бенедиктинец».

«Ладно, – сказал я. – Но почему Гнедок?»

«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! – воскликнул учитель. – Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан^[34], готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом коне, не находит более оригинальной клички!»

Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу природы, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры, и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.

Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешили, а он

вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.

«Я благодарен вам, Аббон, – сказал Вильгельм, – великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. Пилигримом я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».

Беря письмо с имперскими печатями, аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам отведенные помещения, конюхам – принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы, и нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и по середине гладкого луга, устлавшего чашеобразную впадину (альпу), которой оканчивалась вершина горы.

Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда (который, по всему судя, был единственною отдушиной в цельной стене) открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения – баню и больницу с травохранилищем, прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше, по левую руку от церкви, возвышалась Храмина; между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первой появлялась ее западная

башня, а рядом, чуть левее, стены Храмины вросли в монастырскую ограду и другие башни повисали над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиной и образовывавшие церковный двор: как заведено, почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошный фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, вдоль южной стены и затем вдоль восточной, загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские: конюшни, мельницы, маслодавильни, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, всхолмленного совсем незначительно, позволяла древним создателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек, лучше чем могли бы требовать от кого бы там ни было Гонорий Августодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь – строго на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойла, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатства краше и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Ключи, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависавшей над остальными строениями, ни с чем не сопоставимой громаде Храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что Храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с пределами церкви, вернее наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди

именовали kosmos, то есть изукрашенный, он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуди благословен Создатель, определивший, по свидетельству Августина для каждой вещи число, тяжесть и меру.

Первого дня
Час третий,
где Вильгельм с Аббатом имеют
содержательнейшую беседу

Отец келарь был толстоват и простоват, но радушен; немолод, но крепок; невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи, вернее келью, приготовленную для учителя. Для меня, пообещал он, в течение суток выделяют особый покой, поскольку я, хотя всего лишь послушник, но гость монастыря и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была постлана хорошая свежая солома. Это место, пояснил келарь, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной.

Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. Учитель не соблюдал строгое правило бенедиктинцев и вкушать в молчании не любил. Однако для беседы избирал предметы настолько добрые и достойные, что это выходило, как если бы монах читал нам жития святых.

За завтраком я не удержался и стал расспрашивать его о лошади.

«В любом случае, – начал я, – даже и прочитавши необходимые знаки на снегу и на ветвях, самого-то Гнедка вы все-таки не видели. А знаки эти так или иначе свидетельствуют о любой лошади, или хотя бы о любой лошади определенной породы. Значит, книга природы изъясняется только общими понятиями, как и учат многие именитые богословы?»

«Не вполне, милейший Адсон, – отвечивал учитель. – Разумеется, подобные отпечатки передают, если угодно, впечатление

о коне как *verbum mentis*^[35] и то же самое впечатление передадут они неизменно, в каком бы месте ни были увидены. Однако увиденные именно в этом месте и именно в этот час дня, они говорят мне, что, по меньшей мере, один из любых существующих коней определенной породы побывал тут, и так я оказываюсь на полупути между представлением об идее коня и знанием единичного коня. Как бы то ни было, в любом случае все, что мне известно о коне всеобщном, дается через следы, а след единичен. Тут я оказываюсь, можно сказать, в тисках между единичностью следа и собственным неведением, принимающим достаточно зыбкую форму всеобщной – универсальной – идеи. Если издали смотришь на предмет и трудно разобраться, что это, довольствуешься определением “крупное тело”. Приблизившись, ты уже получаешь возможность сказать, что это вроде бы животное, хотя пока неясно, осел это или лошадь. Наконец, когда оно уже рядом, ты скажешь, что это конь, хотя и не знаешь, зовут его Гнедком или Воронком. И только оказавшись к предмету совсем вплотную, ты убеждаешься, что это Гнедок (то есть именно тот самый, единственный конь, а не любой; называть его можно как угодно). Вот это и есть полнейшее, совершеннейшее знание: проницание единичного. Вот так я час назад готов был строить предположения о любых конях – но не от широты своего разума, а от недостатка проницательности. Утолился же голод моего разума только тогда, когда я увидел единичного коня у монахов в поводу. Только в эту минуту я действительно удостоверился, что осуществленное рассуждение привело меня прямо к истине. А те идеи, которые я употреблял, прежде чем воочию увидел не виденного до того коня, это были чистые знаки, такие же знаки, как отпечатки конских копыт на снегу; знаки и знаки знаков используются только тогда, когда есть недостаток вещей».

Не раз я слышал, как учитель скептически отзывается об универсальных идеях и гораздо более уважительно говорит об индивидуалиях; мне всегда казалось, что это из-за его британства и

францисканства^[4]. Но в тот день у меня не было сил для богословских диспутов; еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон.

Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тук. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе, разумеется, без тайного умысла, а лишь оттого, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели затаиться со смирением, что я и сделал.

Итак, Аббат вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле.

Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошадью. Как же все-таки удалось описать никогда не виденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббат пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля Фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором (ее, разумеется, предстоит обсудить особо), но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись пронизательностью – но в то же время и великодушием.

«Особенно, – добавил Настоятель, – я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни Зло присутствует неотступно, – тут он быстро оглянулся, словно искал врага прямо в нашей комнате, – но верю и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба^[36]. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают у подсудимого признание, как

будто хорошим следователем может считаться тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения...»

«Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола», – сказал Вильгельм.

«Возможно, – уклончиво ответил Аббат, – ибо неисповедимы Господни пути. И все же не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ. И менее всего на вас, как на одного из них, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь. В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства и совета такого человека, как вы: умного и скромного. Достаточно умного, чтоб многое открыть, и достаточно скромного, чтобы скрыть (по необходимости) то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не предавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него. Но горе, когда паства перестает доверять пастырям».

«Ясно», – сказал Вильгельм. Я уже знал, что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает, приличия ради, свое несогласие или удивление.

«И посему, – продолжал Аббат, – я убежден, что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада, умеющий отличать и доброе от злого, и – прежде всего – существенное от несущественного. Я рад был узнать, что вы осуждаете преступников лишь в тех случаях...»

«...когда доказана действительная вина: отравление, растление малолетних или иная мерзость, кою мой язык не решается поименовать...»

«...вы осуждаете преступников лишь в тех случаях, – продолжал Аббат, будто не слыша, – когда присутствие злого духа в обвиняемом очевидно для всех и потому оправдание может выглядеть еще возмутительнее, чем само преступление».

«Я осуждаю преступников только в тех случаях, – сказал Вильгельм, – когда доказано, что они действительно совершили

преступления настолько тяжкие, что я с чистой совестью могу отдать их гражданским властям».

Поколебавшись, Настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине – дьявольском наущении?»

«Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по-моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба...»

«Доктор Аквинский^[37], – сказал тогда Аббат, – не робея, выводил бытие Всевышнего из оснований одного лишь разума, восходя от причин, через причины, к первопричине...»

«Кто я такой, – смиренно отвечал Вильгельм, – чтобы противоречить доктору Аквинскому? Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким изобилием инородных свидетельств, что и его пути на том крепки? Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой отец, возглашали бы хвалу Всевышнему и явственность его существования, даже если бы у Фомы не доказывалось... – Вильгельм запнулся и добавил: – Думаю, так?»

«О, несомненно», – поспешил заверить его Аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластический диспут, судя по всему, тяготивший его. Затем продолжил свое:

«Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умерщвленный через отравление. Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я, по некоторым недвусмысленным показателям, предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действие

совершенно силой некоего постороннего вмешательства, на этот раз не человеческого, а дьявольского? Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порою и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший Гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти? В любом случае дело кончится казнью, упокой Господи его греховную душу».

«Однако, помнится, три года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол, и вы его не оспаривали».

«Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла? В особенности если, – и Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод, – если в ходе процесса все, кто возбудил расследование, – и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые – все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу? Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола: это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его».

«Значит, – с тревогой спросил Аббат, – по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также – или даже в первую очередь – судьями?»

«А разве можно утверждать подобное? – переспросил Вильгельм. И я отметил: вопрос построен так, чтобы Аббату было неудобно настаивать на своем. Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему. – Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню...»

«Несомненно...» – ввернул Настоятель.

«...а ныне, – продолжал Вильгельм, – занимаюсь иными, не менее щекотливыми делами. Готов заняться и вашим, как только вы расскажете, что же случилось».

Настоятель был, видимо, рад перейти к изложению вопроса. Рассказывал он осторожно, взвешивая слова, используя длинные перифразы и, где возможно, обходясь намеками. Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как к знатоку человеческой природы и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расходованию толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма Отрайского, молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость, – искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами, – рано утром нашел козопас на дне обрыва под восточной башней Храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельма в хоре, а к полунощнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, и льдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град. Непогодой заправлял безудержный северный ветер. Снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки-лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. Бедная брменная плоть, да упокоит Господь его душу. Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение: то есть из какого именно окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон.

«Где вы похоронили несчастное тело?» – спросил Вильгельм.

«Разумеется, на кладбище, – ответил Настоятель. – Оно располагается от северной стены церкви до Храмины огородов».

«Понятно, – сказал Вильгельм. – Понятно и ваше дело. Если бы несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей (поелику возможность случайного падения из окна заведомо исключена), – на следующее утро вы должны были найти одно из окон Храмины растворенным. А между тем все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды».

Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный. Но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые, по Аристотелю, приличествуют важному и великодушному мужу: «Кто вам сказал?»

«Вы, – ответил Вильгельм. – Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство. И вы бы не могли допустить погребения его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты; и поскольку ни разу, даже в процессах о ведовстве, я не видел, чтобы непокаявшийся мертвец, при помощи Бога ли, или же дьявола выбрался из пропасти ради того, чтоб замести следы собственного преступления, – я должен заключить, что предполагаемый самоубийца скорее всего был вышвырнут из окна человеческой рукой или, если вам так больше нравится, дьявольской. И теперь вы теряетесь в догадках, кто бы это мог его, ну если не в самом деле выбросить из окна, то хотя бы загнать, сопротивляющегося, на высокий подоконник. И неудивительно, что вы беспокоитесь, покуда в Аббатстве свободно промышляет злая воля, естественная или сверхъестественная – дело не в этом...»

«Да-да... – откликнулся Аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил. – Да. Но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?»

«От вас. Дул ветер. А окна открываются на восток».

«Мало мне рассказали о вашем уме, – проговорил Настоятель. – Все было так, и воды под окнами не нашли, и я не мог понять почему, а сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу. Достаточно тяжело было бы уж и если один из моих монахов дошел до

богомерзкого греха самоубийства. Однако есть причины полагать, что второй из них повинен в грехе не менее вопиющем. И не только...»

«Прежде всего, почему – второй из них? В аббатстве достаточно посторонних – конюших, козопасов, прислуги...»

«Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная, – важно подтвердил Аббат. – У нас на шестьдесят братьев сто пятьдесят человек челяди. Но прислуга ни при чем. Ведь преступление совершено в Храмине. Устройство Храмины вам, должно быть, уже известно: в нижнем этаже поварни и трапезная, в двух верхних скрипторий и библиотека. После вечернего стола Храмину замыкают, и доступ туда строжайше запрещен... – Тут Вильгельм, по видимому, собрался что-то спросить, потому что Аббат угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно: – ...запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но...»

«Но что?»

«Но... Для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно: осмелиться войти в Храмину ночью... – Тут по лицу Аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла, как угасает ночная зарница. – Что вы! Они смертельно этого боятся. Понимаете, когда хочешь что-то оборонить от простецов, запрет надо усилить угрозой: убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего потустороннее. Простецы верят, а вот монахи...»

«Ясно».

«Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться, объяснимая, хотя и противозаконная...»

Вильгельм заметил, что Аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника.

«Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили: и не только... Что еще имелось в виду?»

«Я так сказал? Ну... Никто не убивает без причины, пусть самой извращенной. И мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть инока на убийство собрата. Вот. Это все».

«Все?»

«Все, что я могу рассказать».

«То есть – все, что вам позволено рассказать?»

«Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат...» – Оба слова, и «вас», и «тебя», Аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал:

«Вижу: ты – служитель Господен».

«Спасибо, Вильгельм», – отвечал Аббат.

О Боже милостивый, какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники, один по велению отчаяния, другой по велению любопытства! Ведь даже я, жалкий послушник, не причастный еще тайн святого служения Господня, я, недостойный мальчишка, – понял, что Аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди. С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому, сопряженное с трагической кончиной Адельма. Потому-то, наверное, Аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, Аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника. Он надеялся, что мой учитель силою разума прольет свет на то, что сам он обязан укутывать тьмой во имя наивысшей силы – милосердия.

«Ладно, – сказал Вильгельм. – Я могу опросить монахов?»

«Можете».

«Я могу свободно перемещаться внутри аббатства?»

«Вы получите доступ повсюду».

«О моих полномочиях известят братьев?»

«Всех и сегодня же вечером».

«В таком случае я начну немедленно, до оповещения. Кроме всего прочего, я давно предвкушал, и даже полагал не в малой степени

целью своего путешествия, посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде».

Тут Аббат вскочил на ноги. Лицо его окаменело. «Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда. Но, разумеется, это не касается верхнего этажа Храмины – библиотеки».

«Почему?»

«С этого объяснения следовало бы начать. Но я думал, что вы уже знаете... Дело в том, что наша библиотека отличается от остальных...»

«Да. В ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Боббио и Помпозы, Ключийского и Флерийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новалесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, мелочь по сравнению с вашим собранием, и, надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека – единственный наш светоч; это лучшее, что может противопоставить христианский мир тридцати шести библиотекам Багдада, десяти тысячам томов визиря Ибн аль-Альками; знаю, что число ваших библий сравнимо с двумя тысячами четырьмястами каирскими коранами и что существование ваших запасов – блистательная явственность, посрамляющая наглую напраслину язычников, которые еще в отдаленные времена похвалялись (по близости своей ко князю неправды), будто их библиотека в Триполи наполнена шестью миллионами томов, населена восьмьюдесятью тысячами толкователей и двумястами писцами...»

«Да, это так, благодарение Господу».

«Я знаю, что в составе вашей братии много пришельцев из других аббатств, из различных стран мира. Одни приходят ненадолго, чтобы переписать редкие в их краях рукописи и взять переписанное с собою на родину, а вам они за это предоставляют другие рукописи, редкие в ваших краях, чтобы вы, их переписав, приобщили к своему сокровищу. Другие же приходят на долгие годы, иногда на всю

жизнь – ибо только у вас они получают книги, освещающие их область науки. Поэтому здесь у вас обретаются германцы, даки, испанцы, французы и греки. Знаю, что именно вас Фридрих-император много лет назад просил по его заказу составить трактат о пророчествах Мерлина и перевести его на арабский язык, чтобы послать в подарок египетскому султану. Наконец, я знаю, что даже в таком славнейшем монастыре, как Мурбах, в наши убогие времена не осталось ни одного переписчика; что в Сан-Галло только несколько монахов обучено письму; и что отныне не здесь, а в городах учреждаются корпорации и гильдии мирян, чтобы переписывать по заказу университетов; и что ваше аббатство сейчас единственное из всех ото дня ко дню умножает знания, и не просто умножает, а осиявает все более пышною славой родительский орден...»

«*Monasterium sine libris*^[38], – подхватывая, повел Аббат, как будто забываясь, – се подобствует граду без воев, кремлю без стратиггов, яству без приправ, трапезной без яств, без трав вертограду, лугу без соцветий, дереву без листвия... И наше братство, возрастая, стоя на двух заповедях – тружения и молитвословия, – всему знаемому миру является как свет, как поместилище науки, как воскрешение древнейшей мудрости, спасенной от бедствий многих: пожаров, грабежей, земли трясений; мы как бы кузня новейшей письменности и как хранилище вековечной... О, вам известно, до чего сумрачны наступившие годы; не выговоришь, не краснея, о чем недавно Венский совет был вынужден напомнить народам! О том, что монахи обязаны рукополагаться! Коликие аббатства наши, две сотни лет бывые блистательными средоточиями высокоумия и святожительства, ныне прибежища нерадивцев! Орден пока могуч, однако городским смрадомдохнуло и в наших богоугодных местах: народ Божий все больше наклоняется к торговле, к междоусобицам; там, в огромных градских сонмищах, где не успевает повсеместно владычествовать дух святости, уже не только изъясняются (иного от мирян и ожидать нечего), но даже и пишут уже на вульгарных

наречиях! Помилуй Господи и упаси от того, чтобы хотя единое подобное сочинение попало в наши стены – неминуемо переродится целая обитель в рассадник ереси! По грехам человеческим мир дошел до края пропасти, целиком охвачен бездною, бездну призывающей! А завтра, как и предрекал Гонорий, люди станут нарождаться телесами мельче, нежели мы; так же как и мы мельче древних людей. Мир наш старится. Ежели ныне и имеет орден от Господа некоторое назначение, вот оно: противостоять этой гонке ко краю пропасти, сохраняя, воспроизводя и оберегая сокровище знания, завещанное нашими отцами. Провидение так распорядилось, чтобы всесветная власть, которая при сотворении мира обреталась на востоке, постепенно с течением времени передвигалась все сильнее к закату, тем и нас извещая, что кончина света также приближается, ибо гонка событий в мире уже дошла до пределов миропорядка. Но пока еще тысячелетие не исполнилось окончательно, пока еще окончательно не восторжествовало – хотя ждать и недолго – нечистое чудовище, Антихрист, нам надлежит оставаться на защите достояния христианского мира, сиречь Божия слова, кое дадено от Него Его пророкам и апостолам, и кое отцы наши повторяли благоговейно, не изменяя в нем ни звука, и кое в прежних школах благоговейно толковали, – даром что ныне в этих же школах змиеподобно угнездились гордыня, зависть, безрассудство. Перед наступлением грядущей тьмы мы единственный факел света, единственный светлый луч над горизонтом. И покуда стоят эти священные древние стены, мы должны пребывать на страже Святого Слова Господня...»

«Аминь, – благочестиво заключил Вильгельм. – Но какое отношение это все имеет к запрету на вход в библиотеку?»

«Видите ли, брат Вильгельм, – отвечал Аббат, – для того чтобы вершился святой неохватный труд, обогащающий эти стены, – и кивнул на громаду Храмины, видневшуюся из окна и возвышавшуюся над самыми большими постройками, даже и над церковью, – для этого благочестивые люди работали веками,

соблюдая железную дисциплину. Библиотека родилась из некоего плана, который пребывает в глубокой тайне, тайну же эту никому из иноков не дано познать. Только библиотекарю известен план хранилища, преподанный ему предшественником, и еще при жизни он должен заповедать его преемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишила братство ключа к секретам библиотеки. Их знают двое, старый и молодой, но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным лабиринтам, только он знает, где искать книги и куда их ставить, только он несет ответ за их сохранность. Прочие монахи работают в скриптории, где они могут пользоваться списком книг, хранимых в библиотеке. В списке одни названия, говорящие не слишком много. И лишь библиотекарь, понимающий смысл расстановки томов, по степени доступности данной книги может судить, что она содержит – тайну, истину или ложь. Он единолично решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее затребовал, и предоставить ли вообще. Иногда он советуется со мной. „Ибо не всякая истина – не всякому уху предназначается, и не всякая ложь может быть распознана доверчивой душой.“ Да и братья, по уставу, должны в скриптории заниматься заранее обусловленными работами, для которых потребны заранее оговоренные книги – и никакие иные. Нечего потакать всякому порыву безрассудного любопытства, рожденного слабостью ли духа, опасной ли гордынею, либо дьявольским наущением».

«Значит, в библиотеке есть книги, содержащие лжеученья?»

«И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и чрез немислимое их уродство проявляется великая сила Творца. Так же угодно божественному промыслу и существование магических книг, иудейской каббалы, сказок языческих поэтов и лживых учений, исповедуемых иноверцами. Верой столь незыблемой, столь святой одушевлялись те, кто воздвиг наше аббатство и учредил в нем библиотеку, что полагали, будто даже в клеветах ложных писаний око мудрого и набожного читателя

способно прозреть свет – пусть самый слабый – свет божественного Знания. Но и для таких читателей библиотека пусть остается заповеდიщем. Именно по этим причинам, как вы понимаете, в библиотеку нельзя допустить всех и всякого. К тому же, – добавил Аббат, как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент, – книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук! Если бы все эти сотни лет всякий, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей, но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным Забвением, этим вековечным врагом Истины».

«Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж Храмины».

Аббат улыбнулся. «Никто не должен. Никто не может. Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама, она непроницаема, как истина, которую хранит в себе, коварна, как ложь, в ней заточенная. Лабиринт духовный – это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила и прошу вас соблюдать правила аббатства».

«Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осмотрю предполагаемое место преступления?»

«Брат Вильгельм, – отвечал Настоятель примирительным тоном, – человек, который смог описать моего Гнедка, никогда не видел его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен».

Вильгельм ответил поклонившись: «Ваше высокопреподобие и строгость свою облекает мудростью. Да будет как вам угодно».

«Если я когда-либо, волею Господа, и бывал мудр, – это единственно оттого, что умею быть строгим», – ответил Аббат.

«И наконец, – сказал Вильгельм, – Убертин?»

«Он здесь. Ждет вас».

«Когда?»

«В любое время, – улыбнулся Настоятель. – Вы его знаете. Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке. Зовет ее преходящим обольщением. Проводит дни в церкви, молится, размышляет...»

«Стар он?» – поколебавшись, спросил Вильгельм.

«Вы давно его не видели?»

«Много лет».

«Он устал. Отрешен от наших посюсторонних забот. Ему шестьдесят восемь лет. Но душа его, кажется, молода, как и прежде».

«Спасибо, отец настоятель. Я разыщу его немедленно».

Аббат пригласил нас трапезовать с братией после шестого часа. Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал, и очень сытно, и что предпочтет немедленно увидеться с Убертином. И Аббат откланялся.

Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль – так кричат смертельно раненые. Затем – другие крики, не менее ужасные. Что это?» – вздрогнул Вильгельм. Ничего, – ответил, улыбаясь, Аббат. – Об эту пору у нас колют свиней. У скотников много работы. Не эта кровь должна вас заботить».

Так он сказал, и не оправдал свою репутацию прозорливца. Ибо на следующее утро... Но сдержи нетерпение, ты, разнузданный язык! Ведь еще в тот день, о коем речь, я еще до ночи совершилось много такого, и чем нужно поведать скорее.

**Первого дня
Час шестый,
*где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм
после долгой разлуки видится с Убертином
Казальским***

Аббатская церковь в великолепии уступала тем, которые я осматривал впоследствии в Страсбурге, Шартре, Бамберге и Париже. Сильнее всего она походила на те храмы, которые мне встречались и раньше в италийских землях: не устремляющиеся головокружительно ввысь к небесам, а накрепко сращенные с почвой, более широкие, нежели высокие. Но таково было только основание церкви. Над его крепкими стенами, как над скалою, были надставлены квадратные зубцы, чрезвычайно крепкие и могучие, и ими над нижней частью постройки удерживалась верхняя – не башня, а как бы новая большая вторая церковь, венчаемая островерхой крышей и опоясанная рядами строгих окошек. Надежная монастырская церковь, из тех, которые возводились нашими предками в Провансе и в Лангедоке, чуждая каких бы то ни было красот и излишеств, столь излюбленных современными строителями; и только шпиль, установленный, думаю, в самые недавние годы, отважно вонзался над хором в небесный свод.

Два отвесных, гладких столпа предстояли церковным воротам, которые издалека показывались как бы громадную слитную аркой; но от каждого столпа, от его верха, отходило по контрфорсу, и эти контрфорсы, ежели приглядеться, в вышине венчались все новыми и новыми арками, и их непрерывным полетом увлекался взор как бы в сердце разверзнутой бездны – вглубь, к настоящему portalу, издали неразличимому в полутьме. Над воротами нависал тяжелый тимпан, удерживавшийся с боков двумя массивными подпорками, а посередине – резным пилястром, делившим портал на два

соседствующих прохода, в каждом из коих были установлены тяжелые дубовые окованные железом двери. В тот полуденный час бледное солнце почти отвесно ударяло в крышу и лучи попадали на фасад искоса, оставляя в полутьме наддверный тимпан, так что мы, миновавши два передних столпа, неожиданно очутились под переплетенным арочным сводом, почти что в лесу переплетенных аркад, отходивших от оголовья малых колонн, пропорционально укреплявших каждый контрфорс. Когда глаза свыклись с полумраком, вдруг немой разговор резного камня, обращенный к зрению и следом прямо к душе (ибо картина, се простецов писание), поразил мой взор и увел меня в мечту, каковую и ныне язык затрудняется передать.

Взглянул я как бы в духе, и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий. Лицо Сидящего было сурово и скорбно, распахнутые очи жгли человечество, пришедшее к пределу земного существования; волосы с бородою величественно ниспадали у него по лицу и груди, как будто речные воды, равномерными ручейками, и ни один не был толще остальных. Венец, его покрывавший, был осыпан самоцветами и перлами; властительная пурпуровая туника, изукрашенная вышивками, браная золотом и серебром, пышными складками стекала ему на колени. В левой руке, опущенной на колени, он держал запечатанную книжку, правую же воздевал, знаменуя не то благовещение, не то угрозу. Лик его был озарен ужасающей красотой нимба, крестовидного и цветоносного; и я увидел, как переливается вокруг престола и над головою Сидящего радуга, подобная смарагду... Перед престолом, под ногами Сидящего, простиралось море стеклянное, подобное кристаллу, а вокруг Сидящего, вокруг престола и над престолом виднелись четверо ужасных животных, ужасных для меня, который глядел на них, как бы захваченный, однако милых и сладчайших для Сидящего, которому все они неустанно возглашали хвалу.

Вернее сказать, не все они представлялись даже и мне ужасными, ибо весьма хорош и мил всем своим обликом глядел муж, что слева

от меня, одесную Сидящего, протягивавший книжку. Но ужасен был, с противоположного боку, орел: клюв отверст, торчат встопорщенные перья, как бы железная кольчуга, кривые когти хищно закручены, широкие крылья разведены. Тут же у ног Сидящего, под двумя первыми образами, находились два других, телец и лев, и каждое из этих двух чудовищ, которое в когтях, а которое в копытах, держало, каждое, книгу; при тулове, отвернутом от престола, главы их были на престол устремлены, как будто бы выламывая и верх туловища и шею в какой-то дикой судороге, поводя боками, загребая лапами, разевая пасти, бия и щелкая закрученными хвостами, изогнутыми, как змеи, и завершавшимися, на оконечностях, языками пламени. Оба они крилаты, оба увенчаны ореолом, и, невзирая на устрашающий вид, оба рождены не адскою силой, а небесами, а ежели и показывались ужасными, это оттого, что рыкали в предвосхищении Сошедшего, идущего судить живых и мертвых.

Около престола, обок тех четырех животных и под ногами Сидящего, видимые как будто через прозрачную твердь глубин хрустального моря, заполняя собой почти весь простор видения, размещенные сообразно треугольному очертанию тимпана, снизу семь и семь, выше три и три, совсем сверху два и два, по сторонам престола, двадцать четыре старца восседали на двадцати четырех небольших престолах, облеченные в белые одежды и златовенчаные. У одних находились в руках гусли, у других – чаши, полные фимиама, а играл из них только один, все же прочие были охвачены восторгом, обернувши лик к Сидящему, которому возносили хвалу, и все члены их были вывернуты точно так же, как у четырех животных, с тем чтобы каждый мог лицезреть Сидящего, но у старцев искривление туловища выглядело не так по-скотски, а походило на колена священного танца – тому подобно, наверное, плясал Давид перед ковчегом завета, – и, как бы ни было вывернуто тулово, из любого телоположения зеницы старцев, в опровержение всех законов, определяющих устойчивость тела, глядели в одну-

единственную сиятельную точку. Боже, какая гармония порывов и отпрядываний в наклонении их тел, противоположном, но странно-красивом, в мистическом разговоре всех их членов, чудодейственно освобожденных от телесной тяжести; здесь заповедное число представало в новопринятой существенной видимости, как если бы на святейшее товарищество ниспослан был буйный ветер; здесь дыхание жизни, исступление восторга, вопль аллилуйя, силой чуда претворенный из звучания в святозрачный образ.

Тела и их части, обитаемые духом, озаренные откровением, лики, дивом преображенные, взоры, одушевлением пронзенные, ланиты, любовью воспламененные, зеницы, благоденствием распространенные; кто испепеляем мучительным блаженством, кто охвачен блаженнейшею музыкой, кто трепетом преображен, кто счастьем омоложен, вот все они голосят с растроганными лицами, с развеянными платьями, со сладострастием и с напряжением во всем их существе новое славопение, и уста их полуоткрыты умилением вековечной хвалы. А под пятами этих старцев, и выгибаясь над ними, и поверх престола, и над евангелической четвернею, сплетаясь в симметрические струи, почти не разнствуя между собой из-за роскошества тончайшей художности, сводящей разномастные их свойства к великолепнейшему тождеству, к разной равности и равной разности их, единых в инаковости и инаких в единстве, в семейственном содействии, в совершенной соразмерности сочленений, в сопряженности соцветий, как созвездие сладчайшего созвучия и связанности мастей по существу сторонних, как сочетание соприродное сонму струн цитры, как согласная и согранная, сопредельная соседственность, сродненная существенной нутрянной силою, сосредоточенной на единообразии смысла даже в самой сумасшедшей игре разнообразного, как узорочье и соположение созданий взаимно несоединимых, однако, соединяющихся во взаимности, как плод любовного союза, заключаемого всесильным советом, равнозначно и небесным и светским (наикрепчайшая, вековечная сопряженность мира с

любовью, с добродетельностью, со строем, с могуществом, с правопорядком, с первопричиной, с жизнью, со светом, с сиянием, с видом и с образом), как многообразное единство, ослепляющее блистательной обработкою, сообщающей стройную форму соразмерно расположенной материи, – так сплетались и переливались между собою всевозможные соцветия и листья, и лозы, и отростки, и побеги любых растений, которыми украшаются сады земные и сады небесные: и фиалка, и ракитник, и повилика, и лилия, и бирючина, и нарцисс, и лотос, и аканф, и душистая кассия, и мирра, и смолистый бальзамин.

Однако в то время как мой дух, увлеченный этим совмещением природного совершенства с величавыми сверхъестественными знаменованиями, готов был себя излить в счастливом песнопении, взор, постепенно продвигаясь вдоль строя резных каменных розеток под стопами старцев, падал на некие фигуры, которые, перекрещиваясь между собою, целиком сливались с пилястром, поддерживавшим тимпан. Что собою являли, какое символическое послание сообщали эти три четы львов, каждая переплетенная между собою как бы крестом, наискось наклоненным, каждый зверь был вздыблен дугою, задними лапами взрывая твердую почву, передними упираясь в спину собрата; разметаны змеевидными волнами шерсть и грива, пасти разверзнуты зычной угрозой, тугое тело каждого зверя к тулову колонны привязано, будто приплетено, как путами, резными лозами. Но чтоб успокоить потрясенный дух, как будто нарочно рядом с ними были поставлены укрощать диавольскую природу львов и претворять ее в символическую, направляющую дух к высоким помыслам и тайнам, по сторонам пилястра, симметрично, два человеческих истукана, оба неестественного роста, вытянутые, высотой с колонну, и оба – близнецы других, рядом стоящих двух, которые симметрично справа и слева соседствовали с первыми, подпирая массивные столпы под тимпаном, примыкая к каждому створу со внешней стороны, там, где тяжелые половины двери навешивались на косяки; это были четыре

фигуры старцев, в которых по атрибутам я распознал Петра и Павла, Иеремию и Исаию, извивающихся в таком же танце, в каком и старцы на тимпане; воздеты длинные костлявые руки с перстами, расправленными, как крылья, и, как крылья, разлетаются по воздуху бороды и кудри, подъятые пророческим вихрем; складки долгополых одежд разметаны; долговязые ноги повертываются и движутся, колыхая ткани и складки, будто бьющиеся с львиными космами, хотя по плоти и соприродные оным космам. И, отворачивая очарованный взор свой, упоенный потаенным многозвучием этого странного сродства святолепных телес с адовыми извержениями, я узрел на боках портала, под глубокими аркадами, множество высеченных на контрфорсах в промежутках между хрупкими колоннами, поддерживающими и украшающими их, вьющихся посреди изворотов изобильной растительности, окутывающей оголовья этих колонн, и карабкающихся наверх к лесоподобным пролетам бесчисленно повторяющихся арок – других видений ужасающего, жуткого вида, чье явление в этом священном приюте могло быть связано только с их параболическим и аллегорическим содержанием и с неким моральным уроком, который ими задавался; там видел я жену похабную, оголенную, со спущенной кожей, угрызаемую нечистыми лягвами, уязвляемую аспидами и уестествляемую толстобрюхим сатиром с крупом грифа, с ногами, утыканными жестким пером, и с бесстыжею глоткою, выкликающею ему же самому вечное посрамление; видел я и скупца, коченеющего смертным холодом на своем ложе под колоннами и навесами беззащитною жертвою злой бесовской когорты, на него бросающейся, рвущей с последними хрипами из греховной глотки душу в образе младенчика (но не для вечной жизни, о горе! нарождающегося); видел и горделивца, которому лютый бес плотно сел на плечи, ткнувши когти тому в очи, в то время как двое чревоугодников рвали один из другого клочья мерзостного мяса, и видел других существ, с козлиными рожами, львиными шкурами, пантерьими зубьями, плененных в огненном лесу, горячее

их дыхание чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались под ними странные лики и члены тела: муж с женою, вцепившись друг другу в волосы; два аспида, высасывая очи у грешника; борец, который, скалясь, разрывал скрюченными руками пасть гидры; и все твари бестиария Сатаны, сошедшиеся собором, дабы хранить и венчать престол тот и поражением своим его восславить, – сатиры, андрогини^[39], шестипалые уроды, сирены, гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы^[40], змеехвосты, минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки, сколопендры, волосатые гады, саламандры, змеи-рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, гидрофоры с рогами как пилы, жабы, грифоны, обезьяны, псиглавцы, круготенетники, мантихоры^[41], стервятники, лоси, ласки, драконы, удода, совы, василиски, чрепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи-посохи, амфисбены^[42], летучие удавы, дипсады^[43], мухоловки, хищные полипы, мурены и черепахи. Все исчадия ада будто сошлись тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению Сидящего на фронтоне, к лику его многообещающему и грозному. Те, кто сражен на Армагеддоне^[44], стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев от видения и не сознавая, нахожусь ли в покойном месте, либо же в долине Страшного Суда, я совсем потерялся и силился сдержать слезы, и мнилось, будто слышу (или слышал взаправду?) тот же голос и зрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению Священного Писания, в ночи медитаций в Мелькском хоре. И затем, обмирая всеми чувствами, и прежде некрепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными, я услышал громкий голос, как бы трубный, говоривший: «То, что видишь, напиши в книгу» (чем ныне я и занят), и увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников

подобного Сыну Человеческому, по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, очи – как пламень огненный. Ноги были подобны бронзе, раскаленной в печи. Голос подобен шуму вод многих, и в деснице он держал семь звезд, а из уст его выходил обоюдоострый меч. И вот, дверь отверста на небе, и Сидящий, лицом подобный камням яспису и сардису, и радуга вилась вокруг его престола, и исходили от престола молнии и гласы. И Сидящий, гляжу, берет в руки острый серп и восклицает: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела», и повергает серп свой на землю, и вот уже земля пожата.

Тут я понял, что не об ином глаголет видение, как о происходящем в монастыре. О том самом, что с неохотой открыли уста Аббата. И как часто в последующие дни ни приходил смотреть на портал, всегда убеждался, что переживаю страсти, им предреченные. И тогда же я понял, что мы взошли в оное место, дабы стать свидетелями великой богоугодной жертвы.

Я трепетал, как под зимним ледяным дождем. И тут послышался второй глас, но этот звучал позади меня и был совсем иным, так как шел с земли, а не из лучезарного средоточия моей мечты. И так чуждо звучал, что от него видение пропало, а Вильгельм (теперь я вспомнил о его присутствии), прежде углубленный в созерцание, обернулся на крик, как обернулся и я.

Тот, кто стоял за нами, походил на монаха, хотя его одежда была замарана и ветха, как у бродяги, а что до лица – оно не сильно отличалось от харь, испещривших капители. Во всю жизнь ни разу мне не довелось испытать то, что испытывали многие собратья, – явление диавола. Но я уверен, что если выпадет однажды ему предстать передо мною, тот, кого Господь по счастью не допускает полностью упрятывать свое естество под обликом человека, предстанет именно в таком обличье, какое имел наш тогдашний собеседник. Череп, лишенный волос – но не от епитимьи, а вследствие какой-то гноеточивой сыпи. Лоб до того низкий, что если

бы голова не облысела, мохнатые дикие брови сомкнулись бы с волосами. Круглые глаза с крошечными, очень подвижными зеницами, а взгляд то бесхитростный, то зловещий, в разные минуты по-разному. Носа, сказал бы я, не было вообще, но все же какой-то хрящ торчал у него между глазами, чуть выступая вперед, однако сразу и оканчиваясь. Под ним на гладком месте были две черные дырки – огромные, заросшие густым волосом ноздри. От этих дырок ко рту шел рубец. Уродливая перекошенная пасть была скривлена вправо, и между отсутствующей верхней губой и нижней – выпяченной, мясистой – виднелись неровные черные зубы, заостренные, как собачьи клыки.

Когда мы обернулись, рот стоявшего расползся в улыбке (по крайней мере мне так показалось), и он, предостерегающе воздев перст, промолвил:

«Всепокайтесь! Зряще како змию жрать твой дух! Смерть на нас! Будет тут змий каратель! Возмоли, святой да папа освобождает от греха! Ха! Ха! Видно, вам люб сей глум! Ведовство! Се хула на Господа Нашего Иисуса Христа! А вам любо? И счастье в боли, и стон в любви... Ох! Ох! Сгинь, черт! Тьфу, попутал в песнь! Песни ведут в ад. Сальватор вразумевши. Дом сей добр. Тут еда. И Господу Богу помолимся. Пропади прочее пропадом. И аминь. Так?»

Не раз еще придется, вперед подвигая повесть, рассказывать, и немало, об этом уроде и передавать его речи. Признаюсь, что это очень трудно, так как ни тогда я не понимал, ни сейчас не пойму, на каком языке он изъяснялся. Это не была латынь – язык, употреблявшийся в монастыре меж нами, образованными людьми. Это не было и наречие местности, окружавшей монастырь. И наречием какого-либо другого края это, сколько я могу судить, тоже не было. Думаю, мне удастся хоть отчасти передать манеру его речи, приведя тут выше (слово в слово, как запомнил) первые слова, услышанные от него. Когда позднее мне сделались известны подробности его бурной жизни и его скитания по разным странам, без мысли осесть в какой-нибудь земле, – я понял, что Сальватор

говорил на всех языках и ни на одном. Вернее, он составил из обломков чужих наречий свой собственный язык, используя множество других, с которыми соприкасался во время странствий. Мне даже пришло в голову, что в употреблении Сальватора до нашего века сохранился единственный образчик – нет, не того адамического языка, на котором говорило блаженное человечество с начала сотворения мира до постройки Вавилонской башни, и не какого-либо из языков, появившихся после рокового их разделения, а именно ужасного вавилонского языка первого часа господней казни, языка первоначального смятения. С другой стороны, лепетанье Сальватора даже и языком-то в полной мере назвать бы я не мог, так как в каждом человеческом языке наличествуют правила, и каждое предложение обозначает *ad placitum*^[45] некую вещь, подчиняясь гласному закону; так что невозможно сегодня называть кошку кошкой, а завтра собакой, и нельзя употреблять такие сочетания звуков, которым по взаимной договоренности людей не придан определенный смысл; невозможно изъясняться такими Словами, как «тра-та-та». Невзирая на это, с грехом пополам я ухитрился понимать, о чем толкует Сальватор, и не только я, но и другие: это доказывало, что Сальватор говорил все же на языке, хотя и не на одном, а сразу на всех языках, и на всех – без законов и правил, черпая слова откуда придется. Как я заметил впоследствии, он мог именовать одну и ту же вещь сначала по-латыни, потом по-провансальски, и еще я заметил, что вместо того, чтобы составлять собственные фразы, он заимствовал откуда попадет готовые куски, *disjecta membra*^[46] готовых фраз, некогда услышанных им, и подбирал их применительно к случаю и к предмету, на который направлялась речь. Так, о кушаньях он умел говорить только теми словами, которыми пользовались жители краев, где он это кушанье ел; выражать радость он был способен только припоминая речи радующихся людей, с которыми некогда радовался совместно. Его наречие было точно как его лицо, слагаемое множества обломков, частичек чужих лиц; или еще подобное выдывал я в собраниях

нетленных тел угодников (да не накажется, милостивый Боже, мне *magnis componere parva*^[47], или даже с божественным сопоставление бесовидного!), где святыни складывались, бывало, из частичек иных нетленных святынь. В ту минуту, когда я увидел его впервые, Сальватор представился мне и обличем, и привычкой разговора в виде некоего чудовища, соприродного тем волосатым и душераздирающим, скрестившимся, которых видел я на портале. Позднее я узнал, что он добросердечен и покладист. Позднее я еще узнал... Но нет, расскажу по порядку. К тому же не успел незнакомец обратиться к нам, как Вильгельм, заметно заинтересованный, сам приступил к нему с вопросами.

«Почему ты говоришь „всепокайтесь“?» – спросил он.

«Господине отче брате благ душою, – отвечал Сальватор, сгибаясь в каком-то странном поклоне. – Исус грядущ и в человецех покаяние бы. Так?»

Вильгельм пристально посмотрел на него: «Ты что, из монастыря миноритов^[48]?»

«Не вразумел...»

«Я спрашиваю: ты, верно, жил у братьев Святого Франциска, встречался с так называемыми апостолами?»

Сальватор побледнел – вернее сказать, смуглая звероподобная рожа его посерела. Отвесив Вильгельму поясной поклон, он прошипел что-то вроде «Изыди», истово перекрестился и бросился прочь, непрерывно озираясь.

«О чем вы его спросили?» – обратился я к Вильгельму.

Тот стоял в задумчивости. «Не важно. Объясню после. Сейчас идем в церковь. Я хочу видеть Убертина».

Час шестой пробил совсем недавно. Бледный солнечный свет чуть сочился через западные, то есть мелкие и редко посаженные, проемы во внутренность церкви. Один неяркий луч все еще перетягивался через церковь к головному алтарю, покровы которого отсвечивали тонким золотистым блеском. Боковые приделы были окутаны полутьмой.

У входа в самую близкую к алтарю часовню, в левом приделе, на низкой витой колонне возвышалась каменная Богоматерь, высеченная в современной манере, с невыразимой улыбкой, выдающимся животом, младенцем у груди, в нарядном платье на узком корсаже. У подножия Святородительницы, глубоко уйдя в молитву, ничком лежал на плитах пола человек в одежде ордена ключников.

Мы приблизились. Он, слышав шум наших шагов, поднял лицо. Это был старец, безбородый, безволосый, со светло-голубыми глазами, с узким алым ртом, почти без морщинок, с костистым черепом, который так плотно обтягивался кожей, что вся голова у него походила на голову мумии, сохраненную в молочном растворе. Руки были белы, с тонкими удлиненными пальцами. Весь он был похож на девственницу, сраженную довременной кончиной. Он обратил на нас рассеянные глаза, видимо, с трудом пробуждаясь от экстатического виденья, и вдруг лицо его просияло.

«Вильгельм! – вскрикнул он. – Брате мой любимый! – Он с трудом поднялся на ноги и бросился на грудь моему учителю, обнимая и целуя того в уста. – Вильгельм! – восклицал он, и из глаз текли слезы. – Сколько лет! Но я узнал тебя с первого взгляда! Сколько лет, сколько бедствий! Сколько испытаний ниспослано нам от Бога!» – говорил он сквозь слезы. Вильгельм крепко обнял старца. Видно было, что он тоже взволнован. Мы находились пред знаменитым Убертином Казальским.

Об этом человеке я слышал не раз намного раньше, и даже до того как сам отправился в Италию, – слышал от францисканцев, живших при императорском дворе. Кто-то рассказывал даже, что величайший сочинитель той эпохи, Дант Флорентийский из семьи Алигьери, составил некую поэму (прочсть ее я не сумел бы, так как она написана вульгарным языком), и к ней-де приложили руку силы земли и силы неба, и в ней-де многие вирши являли собою не иное как парафразы стихов, сочиненных Убертином, из его поэмы «Arbor vitae crucifixaе»^[49]. Но желая посылно облегчить будущему

читателю понимание того, какую важность имела описываемая встреча, мне придется отвлечься и попытаться восстановить ряд событий миновавших лет, в том же виде, в котором сам я воспринимал их как во время путешествия по срединной Италии, из обрывочных замечаний, роняемых учителем, так и вдумываясь в те беседы, которые имел Вильгельм с настоятелями и монахами разнообразных монастырей в течение всего нашего путешествия.

Я буду стремиться воспроизвести все, что тогда понял и запомнил, даже когда не полностью уверен, что воспроизвожу верно. Мои наставники в Мельке не раз твердили мне, что-де трудно северянину разобраться в вероисповедных и политических тонкостях итальянской жизни.

На полуострове, где управление клира было по всей очевидности более полновластным, нежели в любой другой области, и где гораздо более явно, чем в любой другой области, клир царил с могуществом и роскошью, на этой земле за последние два века возникли и развились движения людей, влекомых к более бедной жизни, противников развращенного священства, за которым они не признавали даже прав богослужения, и объединялись в самодеятельные общества, равномерно преследуемые и феодалами, и имперскими властями, и магистратами городов.

В конце концов пришел Св. Франциск и начал проповедовать любовь к бедности, не противоречащую установлениям церкви, и его стараниями церковь сумела вместить в себя приверженность ко строгости нравов, присущую тем первоначальным движениям; но искоренила зародыши смуты, которые в них спервоначалу гнездились. И ожидалось, что наступит век благоденствия и мягких нравов, но, по мере того как францисканский орден разрастался и притягивал к себе лучших людей, он становился все более могуществен и все сильнее замешивался в мирские дела, и многие францисканцы стали стремиться возвратиться его к прежней чистоте. Довольно труднодостижимая задача, учитывая, что орден в те времена, когда я приехал в обитель, насчитывал более тридцати

тысяч сподвижников, разбросанных по всему миру. Но многих привлекала эта задача, и многие братья во Св. Франциске возмущались против правила, данного ордену сверху, и говорили, что ныне орден-де присвоил те пороки владычествующей церкви, для искоренения которых создавался. И что это стало происходить еще при жизни Франциска, и что его проповедь нагло предавали. Многие из возмущавшихся новооткрыли для себя книгу одного цистерцианского монаха, писавшего в начале XII века нашего летосчисления, зовомого Иоахимом, которому приписывали дар прорицания. И в самом деле он сумел преуказать наступление новой эры, в которую дух Иисуса Христа, уже давно извращенный усилиями его лжеапостолов, снова пресуществится на нашей земле. И он провозвестил определенные сроки, и потому всем было ясно, что он, сам того не зная, прорицал появление францисканцев. Каковому его прорицанию многие францисканцы порадовались, и, пожалуй, даже чрезмерно, потому что в середине столетия в Париже доктора из Сорбонны осудили учение того пресвитера Иоахима, но думаю мне, что они его осудили главным образом потому, что к той поре францисканцы (как и доминиканцы) начали становиться слишком сильными, многознающими, вошли во французские университеты, и церковь захотела расправиться с ними как с еретиками. Но этого все же не случилось, что оказалось для церкви чрезвычайно полезно, ибо тем самым сохранилась возможность распространения трудов Фомы из Аквино и Бонавентуры из Баньореджо, которые, разумеется, вовсе не были еретиками. Из сказанного видно, что в Париже бытовали тогда взгляды весьма запутанные, вернее, что кому-то выгодно было их запутывать. В том-то и таится, по мне, основное зло, которое приносит ересь христианскому народу: что она спутывает понятия и мысли и побуждает каждого становиться инквизитором ради собственной личной пользы. А ведь по тому, что я видел в аббатстве (и о чем готовлюсь здесь поведать ниже), может родиться мысль, будто очень часто сами инквизиторы порождают ересь. И не в одном том смысле,

что объявляют людей вероотступниками, даже когда те таковыми не являются, но еще и в другом: они с таким неистовством выжигают еретическую заразу, что многие назло им, из ненависти, провозглашают себя ее защитниками. Истинно, дьявольский замкнутый круг создается при этом, Господи помилуй и спаси нашу душу.

Но я рассказывал о ереси (если считать ее ересью) иоакимитов. Немного погодя в Тоскане появился францисканец, Герард из Борго Сан Доннино, распространитель проповеди Иоахима, горячо принятый в среде миноритов. Так в их среде создавались отряды приверженцев первоначального устава и противников исправления правил, проведенного великим Бонавентурой, впоследствии ставшим в ордене генералом. В последнее тридцатилетие века, когда Лионский совет, спасая орден францисканцев от угрозы полного роспуска, ввел его в права собственности над всеми благами, коими до того орден пользовался, а это признавалось правильным и законным в других, более старинных общинах, несколько монахов в Марках против того возмутились, ибо посчитали, что дух отеческого устава этим недопустимо извращается, поскольку францисканец не имеет права владеть никакой собственностью ни от своего лица, ни от имени братства, ни от всего ордена. Их пожизненно заточили. Мне не кажется, будто эти люди возглашали что-то противоречащее Евангелию, но когда дело идет о владычествовании над мирскими богатствами, трудно ждать, чтобы все действовали и распоряжались по справедливости. Мне сказали, что спустя несколько десятилетий новый генерал ордена, Раймонд Гауфреди, разыскал этих узников в Анконе и, освобождая их, рек: «Господу было угодно, чтобы все мы и наш орден запятнались этой виною». Это доказывает, что еретики говорят неправду и что и в лоне церкви отыскиваются еще люди величайших достоинств.

Среди этих выпущенных на свободу узников был Ангел Кларенский, который повстречался потом с одним провансальским

братом, Петром, сыном Иоанна Оливи, распространявшим пророчества Иоахима, а потом – с Убертином Казальским, и так зародилось движение спиритуалов. В те годы восходил на трон папы святожительный муж, отшельник, Петр из Морроне, правивший как Целестин V, и его приняли с радостью. «Грядет святой муж, – ибо было предречено им, – и соблюдет заветы Христовы, будет он ангелической жизни, трепещите, злые прелаты!» Надо думать, Целестин оказался чересчур ангелической жизни, или, может быть, окружавшие его прелаты были слишком злы, только он не смог вынести напряжения, созданного весьма затянувшейся войной с императором и другими королями Европы. Так или иначе, вскорости Целестин отказался от своего правления и вернулся из мира в скит. Но в недолгий период при нем, протянувшийся менее одного года, ожидания спиритуалов были полностью удовлетворены: они явились к Целестину, и он учредил для них братства, называемые «Fratres et pauperes heremiteae domini Celestini»^[50]. С другой же стороны, в то время как папа выступал посредником, улаживая распри между самыми могущественными кардиналами Рима, некоторые из них, такие как Колонна и Орсини, тайным образом снова стали воспалять в монашестве жажду бедной жизни; кажется, довольно странные идеи для людей, живущих в неслыханном достатке, среди роскоши и богатств, и я так до сей поры и не понял, попросту ли они использовали спиритуалов в интересах своего правления или в какой-то мере искупали свою жизнь в плотских утехах тем, что обороняли духовность братьев-отшельников; однако вероятно, что справедливы оба моих предположения, сколь мало ни разбираюсь я в итальянской истории. Одним словом, показательно, что Убертин был принят домовым священником ко двору кардинала Орсини именно в ту пору, когда за особую его признанность среди спиритуалов ему грозило обвинение в ереси; и тот же кардинал стал за него стеною в Авиньоне.

Однако, как часто бывает в подобных обстоятельствах, с одной стороны, Ангел и Убертин проповедовали в рамках церковного

учения, а с другой – масса простецов брала на вооружение их проповедь и распространяла ее по городам и весям, совершенно выходя из-под контроля. Так очень скоро Италия наводнилась полубратьями^[51], или братьями бедной жизни, которые многим обывателям казались опасными еретиками. Отныне становилось очень трудно разграничить предстоятелей Свободного Духа, сохранивших связи с церковными властями, и их простодушных последователей, которые попросту стали жить в отдалении от ордена, перебиваясь милостыней и существуя со дня на день добычею рук своих, не имея ни малейшего владения. Их народная молва прозвала полубратьями. Они во многом походили на французских бегинов^[52], последователей Петра Иоанна Оливи.

Целестина V сменил Бонифаций VIII; новейший папа поспешил выразить крайнее нежелание попустительствовать спиритуалам и всяким полубратьям; в самые последние годы столетия, перед кончиной, он выпустил буллу *Pluna cauleta*, в которой клеймил скопом и христарадников, то есть праздношатающихся попрошайек, обращавшихся где-то на дальней окраине францисканства, и реформаторов-спиритуалов, уходивших от общественной жизни в скитничество.

Спиритуалы впоследствии неоднократно пытались заручиться поддержкой других понтификов, таких как Климент V, и безболезненно расстаться с орденом. Думаю, они бы в том и преуспели, когда бы не приход Иоанна XXII, лишивший их всякой надежды. Как только в 1316 году он был избран, он отписал сицилийскому королю о скорейшем изгнании спиритуалов из земель Сицилии, а их там попряталось немало, и тут же заковал в цепи Ангела Кларенского и спиритуалов из Прованса.

Это проходило, надо сказать, не очень легко. Некоторые в курии противились. В конце концов Убертина и Кларенского освободили и позволили им оставить орден; одного приняли бенедиктинцы, другого целестинцы. Но к тем их сподвижникам, которые оставались

жить сами по себе, Иоанн не знал жалости. Он предал их в руки инквизиции, и многие были сожжены.

Тогда же Иоанн осознал, что для уничтожения полубратского духа, при том что строптивцы опирались на положения официальной церкви, следовало прежде всего разгромить те принципы, на которых они основывали свою веру. Они исходили из того, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, ни частной, ни совокупной. Папа же объявил данное утверждение еретическим. Надо сказать, это было не совсем обычно, поскольку папе как-то не полагалось бы оспаривать ту истину, что Христос был беден. Но дело в том, что годом раньше в Перудже прошел генеральный капитул францисканцев, поддержавший идею Христовой бедности. Таким образом, размежевываясь с полубратями, папа размежевался и с францисканцами. Как я уже говорил, капитул сильно мешал ему воевать с императором. В этом было дело. Из-за этого многие полубратья, слухом не слыхавшие ни об императоре, ни о Перудже, горели на кострах.

Вот о чем вспоминал я, подходя к легендарному Убертину. Учитель меня представил. Старец тронул мне щеку горячими, будто горящими пальцами. Этим прикосновением объяснялось все, что слышал я о святейшем муже, все, что прочел сам в его «Древе жизни». Я понял, каким мистическим жаром он пылал с тех пор, как, обучаясь в Париже, предался спекулятивному богословию и перевоплотился в кающуюся Магдалину, и что за страстная сила влекла его к святой Ангеле из Фолиньо, к той, кто открыла ему сокровища мистической жизни и поклонения кресту, после чего власти ордена, напуганные горячностью его проповедей, срочно выслали Убертина в Верну.

Вглядываясь в лик, нежный, как у святой, с которой тесно он был соединен братской возвышеннейшей связью, я подумал, что в иные времена эти черты, наверное, бывали решительными и жесткими. К примеру, когда в 1311 году Венский собор своей декреталией *Exiivi de paradiso* сместил руководителей францисканского ордена,

преследовавших спиритуалов, но в то же время потребовал от последних смиренного подчинения ордену. И тогда Убертин (воплощенное самоотречение!) не принял хитрого компромисса и восстал, требуя учредить независимый орден спиритуалов – «мужей духа» – с максимально суровым уставом. Отважный боец, он проиграл свою битву, ибо именно в те годы Иоанн XXII предпринял крестовый поход на последователей Петра Иоанна Оливи (к которым некогда сам принадлежал), разгромив общины Нарбонны и Безье. Но Убертин бестрепетно выступил против папы, защищая память друга. Папа же, по великой святости Убертина, не посмел отдать его под суд – хотя соратников истребил. Более того, в создавшемся положении папа даже действовал во спасение Убертина, сперва рекомендовав, а после приказав ему войти в клюнийский монастырь. Убертин, который при всей своей хрупкости и беззащитности умудрялся находить единомышленников и покровителей везде, в том числе при папском дворе, для виду согласился вступить в Геймблахскую обитель во Фландрии, однако, по-моему, ни разу там и не появился, а остался в Авиньоне, под прикрытием кардинала Орсини, – защищать интересы францисканцев.

Однако в последнее время возникли слухи, будто звезда его при дворе закатилась и он бежал из Авиньона, а папа объявил розыск этого неукротимого гневливца как еретика, «векую шатаешься». Но следы его, по тем же слухам, потерялись. Из сегодняшнего разговора Вильгельма с настоятелем я понял) что прославленный Убертин укрывается в здешнем аббатстве. И вот сейчас я видел его воочию.

«Вильгельм, – говорил тем временем старик, – они хотели меня убить, знаешь? Я убежал от них ночью».

«Кто хотел твоей смерти? Иоанн?»

«Нет. Иоанн никогда меня не любил, но чтит всегда. Это ведь именно он десять лет назад спас меня от суда, заставив поступить к бенедиктинцам. Так всем врагам заткнули рты. Но долго они злословили обо мне, издевались: вот-де, поборник бедности, а

входит в богатейший орден, живет на хлебах кардинала Орсини... Ты-то знаешь, Вильгельм, что для меня все их земные блага. Но только таким образом я мог быть в Авиньоне и помогать собратям. Папа боится Орсини, он и волоса бы моего не тронул. Еще три года назад он доверял мне посольство к арагонскому королю...»

«Так кто же преследовал тебя?»

«Все. Курия. Дважды пытались меня убить. Чтоб я замолчал. Ты ведь знаешь, что было пять лет назад. За два года до того осудили нарбоннских бегинов, после чего Беренгар Таллони, хоть и был судьей на том процессе, обратился к папе с воззванием. Время было плохое. Иоанн выпустил две буллы против спиритуалов, и даже Михаил Цезенский сдался. Кстати, когда ты его ждешь?»

«Он будет здесь через два дня».

«Михаил... Давно я его не видел. Сейчас он думает иначе. Он понял, чего мы тогда хотели. Перуджийский капитул поддержал нас. Но это сейчас. А тогда, в 1318 году, он поддался папе и уступил ему пятерых спиритуалов из Прованса, отказавшихся подчиниться францисканскому чину. Их сожгли, Вильгельм... Ох, какой ужас...» – Старик закрыл лицо руками.

«Но все-таки что же произошло после воззвания Таллони?» – спросил Вильгельм.

«Иоанну пришлось снова объявить дискуссию, понимаешь? Он был вынужден. Потому что колеблющиеся были даже в курии. Даже куриальные францисканцы, эти фарисеи, гробы повапленные, готовые продаться за пребенду^[53], – даже они тогда сомневались. И Иоанн велел мне составить записку о бедности. Это была хорошая записка, Вильгельм, да не накажет Господь меня за гордыню...»

«Я читал, Михаил мне показывал».

«Сомневающихся было много. И среди наших тоже. Провинциал Аквитании, кардинал Сан Витале, епископ Каффский...»

«Идиот», – сказал Вильгельм.

«Да покоится в мире. Господь прибрал его два года назад».

«Не был Господь так милостив. Это ложный слух, идущий из Константинополя. Болван Каффа до сих пор с нами и, скорее всего, явится сюда с делегацией, спаси Господь и помилуй наши души».

«Но он за Перуджийский капитул», – сказал Убертин.

«Вот именно. Он принадлежит к тому роду людей, которые – просто находка для неприятеля».

«Честно сказать, – заметил Убертин, – он и тогда не слишком помог нашему делу. И вообще все кончилось ничем. Но все-таки идею не признали еретической, и это немаловажно. Вот чего они мне не могли простить. Вредили как могли. Говорили, что я был в Саксенгаузене три года назад, когда Людовик объявил Иоанна еретиком. При том что всем известно, что я в июле был в Авиньоне у Орсини... Говорили, что в декларации императора использованы мои идеи. Безумные домыслы...»

«Ничего безумного, – сказал Вильгельм. – Эти идеи подсказал императору я, почерпнув их частью из твоей Авиньонской декларации, частью из Оливи».

«Ты? – воскликнул Убертин со смешанным выражением недоверия и радости. – Так ты считаешь, что я прав?»

Вильгельм, похоже, смутился. «Это были подходящие идеи для императора в тот момент», – уклончиво пробормотал он.

Убертин смотрел с подозрением. «А-а, значит, на самом деле ты в них не поверил?»

«Рассказывай дальше, – сказал Вильгельм. – Расскажи, как ты спасся от этих сук».

«Ох, Вильгельм, и вправду суки, бешеные суки. Пришлось биться с самим Бонаграцией, понимаешь?»

«Но Бонаграция Бергамский за нас!»

«Теперь! После того как я с ним столько говорил! Только после этого он дал себя убедить и выступил против Ad conditorem canonum. А папа отправил его на год в тюрьму».

«Я слышал, что ныне он сблизился с моим другом, живущим при курии, с Вильгельмом Оккамским».

«Я его знаю. Он мне не нравится. Холодный человек, только голова, нет сердца».

«Но голова хорошая».

«Возможно. И заведет его в ад».

«Там мы с ним увидимся и будет с кем устроить логический диспут».

«Замолчи, Вильгельм, – перебил Убертин, улыбаясь с бесконечной нежностью. – Ты лучше всех твоих философов. Если б еще ты хотел...»

«Чего?»

«Помнишь, мы виделись в последний раз в Умбрии? Помнишь? Я тогда воскресал от моих недугов благодаря заботам этой дивной женщины... Клары из Монтефалько... – При ее имени лицо старика просияло. – Клара... Когда женское естество, от природы злопакознейшее, воспаряет к святости – вот тогда может собой явить высочайшее средоточие благостыни. Ты-то знаешь, Вильгельм, что вся моя жизнь одушевлена чистейшим целомудрием, ты-то знаешь, – и конвульсивно схватил Вильгельма за руку, – знаешь, с какой свирепой (да, верное слово!), свирепой страстью к смирению я умерщвлял в себе трепет плоти, дабы стать проводником единственного чувства, любви к Христу Распятому... И все же три женщины вошли в мою жизнь как истинные посланницы небесных сил. Ангела из Фолиньо, Маргарита из Кастелло (она предвосхитила завершение моей книги, когда я еще не написал и трети) и, наконец, Клара Монтефалькская. Счастливым промыслом Божиим именно я был назначен расследовать ее чудеса. И я убеждал толпу в их святости еще до того, как на это отважилась мать пресвятая церковь. А ведь ты был рядом, Вильгельм, и мог бы помочь в святейшем подвиге, но не захотел...»

«Святейший подвиг, к которому ты призывал, – это отправить на костер Бентивенгу, Джакомо и Джованнуччо», – невозмутимо вставил Вильгельм.

«Они сквернили собственной низостью ее память. А ты был инквизитор».

«И именно тогда попросил освободить меня от должности. Эта история мне не понравилась. Не нравится, честно сказать, и способ, которым ты заставил Бентивенгу признаться в его заблуждениях. Прикинулся, будто хочешь вступить в его секту, – еще неизвестно, была ли секта, – вызнал все тайны, и его посадили».

«Но так и обращаются с врагами церкви! Они еретики, лжеапостолы, смердят Дольчиновой серой!»

«Они друзья Клары».

«Нет, Вильгельм, память Клары оставь в покое!»

«Но они из ее группы...»

«Они минориты, звавшие себя мужами духа – а надо бы их звать публичными братьями! А известно тебе, что выяснилось на следствии? Что Бентивенга из Губбио выдавал себя за апостола и вместе с Джованнуччо из Беваньи совращал монахинь, убеждая, будто ада не существует и позывы плоти можно удовлетворять, не гневя бога, и будто можно причаститься Тела Христова, возлеги (силы небесные, не прогневайтесь!) с монахиней, и что будто Господу предпочтительнее Магдалина, нежели девственная Агнесса, и будто кого зовут в народе бесом, это и есть Господь, так как бес – мудрость и Господь – также мудрость! Блаженная же Клара, наслушавшись их таковых речей, имела видение, и сам Спаситель оповестил ее, что они злонамеренные приверженцы Свободного Духа!»

«Они были минориты, и мозг их был воспален теми же виденьями, что у Клары. Часто от экстатического исступления до греховного один шаг», – сказал Вильгельм.

Убертин заломил руки, в глазах его показались слезы: «Не говори так, Вильгельм. Можно ли смешивать миг экстатической любви, обжигающий нутро фимиамом, с распущенностью чувств, от коих воняет серой! Бентивенга наущал братьев, чтоб трогали нагие части

тел, утверждая, будто этим добывается свобода от чувственного соблазна: наг муж с нагою женою возлег...»

«Иже друг друга не познаста...»

«Вздор! Они искали сладострастия! И когда плоть одолевала, они за грех не считали для ея успокоения мужчине лечь с женщиною и друг друга лобызать во все места, и соединять его нагое лоно с ея нагим лоном!»

Должен сказать, что убертинова манера обличения навела меня не на праведные мысли. Учитель, наверное, заметил мое беспокойство и прервал старца.

«Ты равно горяч духом, Убертин, как в любви Христовой, так и в неприятии зла. Я только хотел сказать, что мало чем отличается жар Серафимов от жара Люцифера, ибо и тот, и другой воспаляются в невыносимом напряжении желания...»

«Нет, разница есть, и я ее чувствую! – вдохновенно отвечал Убертин. – Ты скажешь, что и от вожделения добра до вожделения зла один шаг: оба суть вожделения. Это неоспоримо. Однако есть великая разница в предмете вожделения, он легко различим. Тут Господь, там диавол».

«Боюсь, что я разучился различать, Убертин. Не твоя ли Ангела из Фолиньо, когда рассказывала о восторге у гроба Господня, описала, как сперва поцеловала его в перси, и видит – лежит он смеживши очи; потом в уста поцеловала и ощутила, что исходит от тех уст невыразимый сладостный запах, а через некоторое время приложилась ланитой к ланите Христовой, и Христос поднес ладонь к другой ее ланите и крепко прижал к себе, и в этот миг ее радость – так, кажется, она выразилась – достигла предела?»

«При чем это к чувственной похоти? – сказал Убертин. – Это мистическое испытание, а тело было телом Господа нашего».

«Видно, я слишком привык к Оксфорду, – сказал Вильгельм. – Там мистические испытания выглядели несколько иначе».

«Опять все шло от головы?» – усмехнулся Убертин.

«Скорее от очей. Господь является в виде сияния. Его видят в солнечных лучах, в зеркальных отражениях, в растворении цвета среди частиц упорядоченной материи, в блеске дневного света на мокрой листве. Разве такая любовь не ближе к проповеди Франциска, возлюбившего Господа во всех его тварях, в цветах, в травах, в воде, в воздухе? Не думаю я, чтоб такое чувство могло привести к опасным последствиям. А вот любовь, которая идет ко Всевышнему от содроганий возбужденной плоти...»

«Святотатствуешь, Вильгельм! Я говорил не о том! Неизмерима пропасть меж возвышенным экстазом любви к казненному Иисусу и низменным, развратным экстазом лжеапостолов монтефалькских...»

«Не лжеапостолов, а братьев Свободного Духа. Ты же сам сказал».

«Какая разница! Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел предать гласности некоторые их признания – дабы ни на миг не опоганить тенью дьявольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал такое, Вильгельм, такое! Они сходились по ночам в подземелье, брали новорожденного младенца и друг другу его бросали, пока он не погибал от ушибов... или от чего иного... и кому он доставался живым последнему, и в чьих руках испускал дух, тот становился главарем секты... А тело младенчика, растерзав, замешивали в тесто, чтобы готовить святотатственные просфоры!»

«Убертин, – решительно оборвал Вильгельм. – Все это говорилось много столетий назад об армянах-епископах и о секте павликиан... И о богомилах...»

«Ну и что? Нечистый туп, ходит кругами, спустя тысячелетия повторяет все те же козни и соблазны, он всегда себе подобен, оттого и признан повсеместно врагом! Клянусь тебе, в пасхальную ночь они палили свечи и водили в подземелье девушек. Потом свечи гасили и бросались на девушек, даже на тех, с кем были связаны кровными узами... И, если от соития рождалось дитя, снова заводили адское радение, ставши кругом полной винной чаши, потиром у них зовомой. Упивались допьяна, и резали ребеночка на части, и лили

кровь в чашу, и детей еще живыми кидали в огонь, а после мешали останки детские с детской кровью и упивались».

«Но это описано Михаилом Пселлом^[54] в трактате о хитростях бесов триста лет назад! Кто тебе все это рассказывал?»

«Они сами, Бентивенга с прочими, и под пыткой!»

«Одна вещь на свете возбуждает животных сильнее, чем наслаждение. И это боль. Под пыткой ты как бы во власти одуряющих трав. Все, о чем ты слышал и читал, оживает в памяти, и ты будто переносишься душой – если не в рай, то в ад. Под пыткой ты скажешь не только все, чего хочет следователь, но еще и все, что, по-твоему, могло бы доставить ему удовольствие. Ибо между вами устанавливается связь, и эта-то связь, думаю, действительно дьявольская... Я все это хорошо изучил, Убертин, ведь и я был среди тех, кто рассчитывает добыть истину каленым железом. Но запомни, что накал истины – иной, от иного пламени. Бентивенга под пыткой мог болтать любую несуразицу, потому что в тот миг говорил не он, а его сладострастие, говорили бесы его души...»

«Сладострастие?»

«Да, есть сладострастие боли, так же как сладострастие веры и даже сладострастие смирения. Если ангелам-бунтовщикам столь немногого хватило, чтоб огонь обожания и смирения стал в них огнем гордыни и бунта, что говорить о слабом роде человеческом? Ну вот, я рассказал тебе, какие мысли смущали меня при ведении следствия. Из-за них я отказался от должности. Не хватало духу преследовать слабости грешников, коль скоро у них те же слабости, что у святых».

Последнюю речь Вильгельма Убертин слушал, будто не слыша. По его лицу, исполненному искреннего и сердечного сочувствия, я понял, что он считает Вильгельма жертвой самых опасных заблуждений, но прощает, потому что очень его любит. Прервав собеседника, он сказал с горечью: «Ладно, неважно. Если были подобные мысли – хорошо, что бросил. С искушением надо бороться. Но без твоей поддержки мне пришлось туго. Вдвоем мы

разгромили бы эту банду. А так – ты ведь знаешь, чем кончилось? Меня самого заподозрили в слабости к подсудимым и предъявили обвинение в еретической деятельности... А ведь речь могла идти и о твоей слабости, Вильгельм. Ты оказался слаб, не смог сразиться со злом. Зло, Вильгельм, зло повсюду... Когда избавимся от этой напасти, этой мрази, этой грязи, не дающей пить из самых чистых источников? – Он ближе пододвинулся к Вильгельму, будто опасаясь, что кто-то услышит. – Даже здесь, в святых стенах, назначенных лишь молитвам... Ты уже знаешь?»

«Знаю, Аббат ко мне обращался и просил пролить свет на эту тайну».

«Коли так – вынюхивай, выведывай, выглядывай рысьим взором, ищи две причины – сладострастие и гордыню».

«Сладострастие?»

«Сладострастие. Было что-то... от женщины, а значит – от дьявола в этом юноше, который умер. Глаза, как у девицы, возделующей сношения с инкубом. К тому же здесь и гордыня, гордыня ума; здесь, в этом монастыре, где все подчинено поклонению слову, похвальбе мнимой мудростью...»

«Если что-то знаешь, скажи».

«Нет, не знаю. У меня нет фактов. Но бывают вещи, которые чуешь сердцем. Спроси свое сердце, вслушайся в лица, речей не слушай... А впрочем, мы так долго говорим о мрачных вещах, совсем замучили нашего юного друга. – Он взглянул на меня своими синими глазами, поднял руку и длинными белыми пальцами дотронулся до моей щеки. Я инстинктивно дернул головой, но вовремя удержался, и правильно сделал, потому что мог обидеть старика, между тем как побуждения его были чисты. – Лучше расскажи о себе, – обратился он к Вильгельму. – Что ты делал все это время? Прошло...»

«Восемнадцать лет. Я вернулся в свои земли. Снова учился в Оксфорде. Изучал природу...»

«Природа – добро, раз она порождение Господа», – сказал Убертин.

«Господь должен быть добр, раз он породил природу, – улыбнулся Вильгельм. – Я много работал, встречался с учеными. Потом познакомился с Марсилием. Меня привлекли его соображения о власти, о народе, его проект нового законодательства для всех государств земли; и так я примкнул к группе членов нашего ордена – советников императора. Но все это тебе известно из моих писем. Я был просто счастлив, когда в Боббио мне сообщили, что ты здесь. Мы-то боялись, что потеряли тебя... А теперь, поскольку ты с нами, ты сможешь во многом нам помочь через несколько дней, когда появится Михаил. Драка будет сильная».

«Мало что я смогу прибавить к тому, что говорил пять лет назад в Авиньоне. Кто будет с Михаилом?»

«Несколько человек от Перуджийского капитула, Арнальд Аквитанский, Хьюго Ньюкасл...»

«Кто?» – переспросил Убертин.

«Гугон из Новокастро. Прости, не могу избавиться от родного языка, даже когда стараюсь говорить на правильной латыни. Затем Вильгельм Алнуик. Из авиньонских же францисканцев люди, на которых можно рассчитывать, – это дурак Иероним Каффа и еще, наверное, Беренгар Таллони и Бонаграция Бергамский».

«На все воля Божья, – сказал Убертин. – Эти последние не слишком-то рвутся ссориться с папой. А кто будет защищать позиции курии – я имею в виду, из жесткосердых?»

«Судя по имеющимся у меня письмам, придет Лаврентий Декоалькон».

«Вредный человек».

«Иоанн д'Анно...»

«Этот хитер в богословии, имей в виду».

«Будем иметь в виду. И, наконец, Иоанн де Бон».

«Сразу сцепится с Беренгаром Таллони».

«Да, вот я и думаю, что мы повеселимся», – отвечал учитель в отменном расположении духа. Убертин глядел на него с улыбкой изумления.

«Не разберу, когда вы, англичане, говорите серьезно. Ничего веселого в этом деле я не вижу. Решается вопрос существования ордена. Твоего ордена, Вильгельм, а в глубине души до сих пор и моего... И все-таки я решил умолять Михаила не ездить в Авиньон. Иоанн подозрительно настойчив – зазывает его, просит, приглашает. Нельзя верить этому подлому французу. О Господи Пресвятой, в чьи руки попала твоя церковь! – И он обернулся к алтарю. – Блудницею заделалась, размякла в роскошествах, угрелась в похоти, как змея в тепле! От святой наготы вифлеемских яслей, от чистоты крестного древа – *lignum vitae* – к вакханалии золота и камней, ты видел, и здесь все то же, видел ты портал? Куда деваться от наглого великолепия этих образов? И вот наконец подходят антихристовы сроки, и я боюсь, Вильгельм! – И он озирался, заглядывая расширенными глазами в глубь темных нефов, как будто антихрист мог оттуда показаться с минуты на минуту, и я невольно ощутил, что сам готовлюсь к этой встрече. – Наместники его явились, им подсланные, как рассылал апостолов Христос по всему свету! И попирают Град Божий, и обольщают своими прелестями, лицемерят и насильничают. Настал черед Господу выслать рабов своих Илию и Еноха, которых еще живыми поместил к себе в земной рай, чтоб они пришли и рассеяли силу Антихриста. И придут они пророчить в покаянных рясах и станут проповедовать покаяние словом и примером...»

«Они уже тут, Убертин», – сказал Вильгельм, показывая на свою францисканскую рясу.

«Но не победили еще, и в некий час Антихрист в ярости своей велит умертвить и Еноха, и Илию, дабы каждый мог видеть их трупы и, видя, страшился бы вторить их примеру. Так и меня чуть не убили...»

Тут я ужаснулся, подумав, что Убертин охвачен какой-то божественной горячкой, и убоился за его разум. Ныне же, когда минули года и мне известно то, что мне известно, а именно – что спустя несколько лет он был убит в одном немецком городе при

невыясненных обстоятельствах и так и не узналось, кем, – я снова леденею от ужаса, так как вижу, что в тот вечер Убертин прорицал.

«Знаешь, аббат Иоахим сказал правду. Мы подошли к шестой эре истории человечества, и теперь явятся два Антихриста, мистический и истинный, и это случится теперь, в шестую эпоху, после того как был Франциск, пресуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса. Бонифаций был мистическим Антихристом, отречение Целестина недействительно, Бонифаций се и есть зверь из моря выходящий, чьи семь голов – это семь оскорблений смертным грехам, а десять рогов, се хуление десяти заповедям, а кардиналы ему споспешествовавшие, се саранча, а плотью он – Аполлон! Число же зверя, если сочтешь по греческим литерам, – Бенедикт! – Он посмотрел, проверяя, хорошо ли я понял, и предостерегающе воздел перст. – Бенедикт XI и был истинным Антихристом, зверем восходящим от земли! И Господь допустил, чтобы этот выродок, воплощение порока и безнравственности, правил святою церковью! Лишь ради того, чтобы достоинства его преемника ослепили бы мир!»

«Но святой отче, – пролепетал я, набравшись духу, – ведь его преемник Иоанн!»

Убертин провел рукой по лбу, как бы отгоняя предательский сон. Он задыхался, глядел мутно. «Вот именно. Мы ошиблись в расчетах. Ангелический папа все еще ожидается. Но приходили Франциск с Домиником. – Он завел очи кверху и прочитал нараспев, как молитву (однако я был уверен, что читает он какую-то страницу из своей великой книги о крестном древе): – Первый явленный, серафическим счетом произнесенный, жаром небес уязвленный, огнем пылал... Следом за ним идущий, истинной святости слово несущий, свет в мир излил... Да, таковы были предвестия, и должен прийти ангелический папа».

«Да будет так, Убертин, – отвечал Вильгельм. – А я обязан позаботиться, как бы покуда не прогнали правителя земного. Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин...»

«Не поминай этого змия! – взвыл Убертин, и я впервые увидел, как он меняется, из благостного становится буйным. – Он опоганил учение Иоахима Калабрийского, превратил в грязь, смертью чреватую! Сущий прислужник Антихриста, самый что ни на есть! А ты, Вильгельм, говоришь все это, потому что на самом деле не веришь в антихристово пришествие, это твои оксфордские наставники научили тебя обожествлять разум, иссушив пророческий дар в твоём сердце!»

«Ты ошибаешься, Убертин, – отвечал Вильгельм очень серьезно. – Ты ведь знаешь, что из всех учителей самый мною почитаемый – Рогир Бэкон...»

«Любивший поговорить о летающих машинах», – язвительно вставил Убертин.

«Предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рогир учил, что есть только один способ укрепиться ввиду прихода врага: изучать тайны природы, приобретать знания ради исправления человечества. Можно готовиться к приходу Антихриста изучая целебные достоинства трав, свойства камней, даже выдумывая летающие устройства, которые тебя так смешат».

«Твоему Бэкону Антихрист – это только предлог, чтобы пестовать гордыню разума».

«Святой предлог».

«То, что нуждается в предлоге, не свято. Вильгельм, ты знаешь, как я люблю тебя. Знаешь, как я полагаюсь на тебя. Укроти разум, научись оплакивать язвы и муки Господа! Выбрось книги!»

«Все выброшу, кроме твоей», – улыбнулся Вильгельм в ответ. Убертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем. – «Глупый англичанин. Не слишком смейся над себе подобными. Над теми, кого не можешь любить, также не смейся: лучше их бойся. И поосторожнее в этом аббатстве. Оно мне не нравится».

«Да, я как раз собирался получше его рассмотреть, – ответил Вильгельм, направляясь вон. – Идем, Адсон».

«Говорю: здесь опасно, а ты собираешься рассматривать... Ох, Вильгельм!» – крикнул вслед Убертин, неодобрительно качая головой.

«Кстати, – добавил Вильгельм уже из середины нефа, – что это за монах: смахивает на животное и говорит по-вавилонски?»

«Сальватор? – обернулся Убертин, уже ставший на колени. – Он, можно сказать, мой подарок этому монастырю. Так же как и келарь. Расставаясь с францисканской рясою, я ненадолго посетил свою прежнюю обитель в Казале, где в то время несколько монахов попали в неприятное положение: братия заподозрила, что они – спиритуалы из моей секты. Так во всяком случае они выразились. Я постарался защитить монахов и добился для них разрешения последовать моему примеру. В прошлом году приезжаю сюда и вижу двоих из них: Сальватора и Ремигия. Сальватор... Он действительно похож на скотину. Но услужлив».

Вильгельм, поколебавшись, сказал: «Я слышал от него „всепокайтесь“...»

Убертин молчал. Потом махнул рукой, отгоняя назойливую мысль: «Да нет, вряд ли. Ты ведь знаешь этих мирских братьев. Темная деревенщина. Наслушались какого-нибудь бродячего проповедника и повторяют без понятия. Сальватора есть в чем упрекнуть. Он прожорливая похотливая тварь. Но по части благонадежности вне подозрений. Нет, Вильгельм, беда этого монастыря в ином: не в тех, кто ничего не знает, а в тех, кто знает слишком много. Среди них и ищи. И не воздвигай крепость подозрений на услышанном слове».

«Это не в моих правилах, – ответил Вильгельм, – я и из инквизиторов ушел, чтобы не делать этого. Но вообще-то слушать слова мне интересно. И думать о них».

«Слишком ты много думаешь. Юноша, – обратился Убертин ко мне, – не подражай учителю в дурном примере. Единственное, о чем стоит думать, как я убедился под конец жизни, – это о смерти. В смерти нам покой готов, завершение всех трудов. Дайте мне помолиться».

Первого дня **Перед часом девятым,** ***где Вильгельм ведет учёнейший диалог с*** ***травщиком Северином***

Мы снова пересекли центральный неф и вышли из-под портала на улицу. Все сказанное Убертином, все его слова до сих пор грохотали у меня в голове.

«Он такой человек... Странный...» – осмелился я заметить Вильгельму.

«Он во многих отношениях великий человек – во всяком случае, был... От этого и странность. Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными. Убертин мог бы быть одним из тех еретиков, которых сжег на костре. А мог бы – кардиналом святейшей римской церкви. И был, заметь, на волосок от обоих извращений. Когда я говорю с Убертином, мне кажется, будто ад – это рай, увиденный с обратной стороны».

Я не понял, что он хочет сказать, и переспросил: «С какой стороны?»

«В том-то и дело, – грустно покачал головой Вильгельм. – Прежде всего требуется установить, существуют ли стороны и существует ли целое... Да не слушай ты меня. И не смотри больше на этот портал, – добавил он, сопровождая последние слова легким подзатыльником, ибо я изо всех сил вывернул шею, не в силах оторваться от поразивших меня скульптур у входа. – На сегодня тебя достаточно напугали. Все кто мог».

Возвратив голову в естественное положение, я увидел перед собой нового монаха. Этот был одних лет с Вильгельмом. Он с улыбкой поздоровался и представился: Северин из Сант'Эммерано, монастырский травщик, ведающий купальнями, больницей и

огородом. И если нам угоден сопровождающий по монастырскому хозяйству, он к нашим услугам.

Вильгельм сказал спасибо и добавил, что при въезде в аббатство заметил прекрасные грядки, занятые, по всей видимости, не только под съедобные, но и под лекарственные растения, – насколько удалось разглядеть под снегом.

«Летом или весной, когда всякий злак неповторимым соцветием изукрашен, сей огород дивным разнообразием много звонче восславляет Создателя, – отозвался Северин сокрушенным голосом. – Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям видит, что произрастает, и убеждается, что этот огород богаче, чем любые гербарии, и цветистей, чем лучшие в них миниатюры. Да к тому же разные добрые злаки растут и зимой, а иные я высаживаю в горшки и держу в лаборатории. В изобилии следует иметь корневища кислицы – они помогают от катаров, а отвар корешков шалфея идет на припарки от кожных болезней; лапушник выводит экзему, молотые и тертые отростки змеевика, или горлеца, хороши от поноса и женских недугов; дикий овес – прекрасное пищеварительное средство, мать-и-мачеха лечит горло; выращиваем мы и отличную горечавку для пищеварения, и глицирису, и можжевельник – варим можжевельовый настой. Из коры бузины готовим печеночный взвар. Мыльнянка – ее корни толчем в холодной воде, помогает от воспалений. Кроме того, мы выращиваем валериану, добрые свойства коей вам известны».

«Разные травы требуют разного климата. Как же вам удастся...»

«С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа, расположившего наши угодья на гребне гор так, что посеvy на южном склоне, обращенном к морю, получают много теплого воздуха, а те, что на северном склоне, глядят на более высокую лесистую гору, которая и прикрывает их и поит древесными бальзамами. С другой же стороны, я обязан ухищрениям искусства, коего сподобился, недостойный, от добрых учителей. Ибо некоторые

травы растут и в неудобном климате, если хорошо подготовить почву, правильно подкармливать и ухаживать».

«А есть тут травы, которые только едят?» – спросил я.

«Мой милый проголодавшийся жеребенок, запомни, что нет съедобных растений, которые не служат для врачевания. Важно соблюдать меру. От злоупотреблений болеют. Возьми тыкву. Она из влажной и холодной стихий, утоляет жажду. Но если объешься, будет понос, и придется сжимать кишки горчицей, растертой с рассолом. А луковицы? Состоят из теплой и влажной стихий, они потворствуют соитию... Разумеется, это для тех, кто не связан нашими обетами. Нам же лук тяжелит голову, с чем боремся молоком и уксусом. Вот из каких причин, – хитро добавил монах, – молодому иноку лучше в луке себя ограничить. Ешь чеснок. Сухой и горячий, он защитит от ядов. Но не излишествуй, ибо этот овощ сосет из мозга много гуморов. Фасоль гонит мочу и наращивает полноту, оба действия прекрасны для здоровья. Хотя от фасоли дурные сны... Но не такие опасные, как от иных трав, нагоняющих сонную одурь...»

«А что это за травы?» – спросил я.

«Ха, ха, наш маленький послушник слишком любопытен. Нет уж, к этому позволено прикоснуться только травщику. Иначе каждый сможет вызывать видения и дурить людей зельями».

«Да достаточно пожевать крапивное семя, страстоцвет или масличник, чтоб защититься от силы сонных трав. Полагаю, в аббатстве выращиваются и эти необходимые злаки?» – сказал Вильгельм.

Северин искоса посмотрел на него. «Ты занимаешься гербаристикой?»

«Очень немного, – скромно отвечал Вильгельм. – Прочел несколько разрозненных книг... „Театр целительства“ Абубхасима Бальдахского...»

«Бальдах Абул Гасан аль Мухтар ибн Ботлан».

«Он же, если угодно, Эллукасим Элимиттар. Интересно, отыщется ли здесь экземпляр...»

«Отыщется, и превосходный. Со множеством замечательных рисунков».

«Хвала небесам. А „Достоинства трав“ Платеария?»

«Это тоже есть. И еще „О быльях“ и „О растительном“ Аристотеля в переводе Альфреда Сарешельского».

«Я слышал, что на самом деле это не Аристотель, – заметил Вильгельм. – Точно так же, как, по всей видимости, не Аристотелю принадлежит „О причинах“».

«В любом случае это великая книга», – отвечал Северин, и учитель подтвердил с горячностью, даже не осведомляясь, какого труда касается высказывание – «О растительном» или «О причинах». Я же впервые услышал как о первом, так и о втором, однако из их беседы сделал вывод, что оба сочинения надо знать и уважать.

«Я буду несказанно рад, – сказал на это Северин, – как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно».

«А мне еще полезнее, – сказал Вильгельм, – но мы нарушим правило молчания – основное в уставе ордена...»

«Устав, – отвечал Северин, – в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение и не поощрял изучения. А между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее. Устав требует общей спальни. Однако мы считаем, что монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью. Потому у каждого особая келья. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручными работами, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с братьями. Но поскольку аббатство прежде всего сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знания. Поэтому беседа, споспешествующая изучению предметов, считается законной и полезной. Если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений».

«А ты часто говорил с Адельмом Отрантским?» – внезапно спросил Вильгельм.

Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, Аббат уже рассказал, – промолвил он. – Нет. С ним я говорил не часто. Он был занят миниатюрами. Но я слышал, как он говорил с другими монахами, с Венанцием Сальвемекским и с Хорхе Бургосским, о работе. Я-то целыми днями не в скриптории, а у себя», – и указал на здание лечебницы.

«Так, – сказал Вильгельм. – Следовательно, ты не знаешь, были ли у Адельма видения».

«Видения?»

«Видения, какие случаются, например, от твоих трав».

Северин произнес каменным колосом: «Я сказал, что опасные зелья под охраной».

«Не об этом речь, – продолжал Вильгельм. – Я спрашиваю о видениях».

«Не понимаю вопроса», – упрямо ответил Северин.

«Я подумал, что монах, бродящий по Храмине ночью... А там, по допущению Аббата, могут происходить вещи... губительные для тех, кто приходит в запретный час... вот я и говорю, что подумал: а не явились ли ему дьявольские видения, сбросившие его в пропасть?»

«Я уже сказал, что в скрипторий не хожу – только если нужны какие-нибудь книги. Но большинство гербариев держу при больнице. И я уже сказал, что Адельм был очень близок с Хорхе, с Венанцием... и... разумеется, с Беренгаром...»

Даже я уловил в голосе Северина замешательство, не ускользнувшее, конечно, и от учителя: «С Беренгаром? А почему разумеется?»

«Беренгар Арундельский – помощник библиотекаря. Ну, они однолетки, вместе послушествовали... и, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду».

«Значит, ты это имел в виду», – повторил Вильгельм. Я удивился, что он не задает дальнейших вопросов. Более того, он резко

переменил разговор. – «Надо бы побывать в Храмине. Проводишь нас?»

«Охотно», – ответил Северин с видимым, слишком видимым облегчением. И повел нас в обход огородов к западному фасаду Храмины.

«С огородов прямой вход в поварню, – пояснил он. – Однако поварня занимает только западную половину первого этажа, в остальной половине – трапезная. А из южных дверей, к которым ведет дорожка вокруг хора церкви, можно попасть сразу и в поварню, и в трапезную. Но мы пойдем тут: из кухни в трапезную есть и внутренняя дверь».

Вступивши в просторную кухню, я сразу заметил, что по середине всей постройки, с первого до последнего этажа, проходит восьмиугольный колодезь, образующий в самом низу восьмиугольный внутренний двор; как я понял впоследствии, ходов в этот колодезь не существовало, а на каждом этаже были пробиты такие же высокие окна, как и в наружных стенах Храмины. Кухня являла собой огромное зачаженное пространство, где уже копошилось там и сям с десятков служек, раскладывавших кушанья для вечера. Двое на огромном столе чистили зелень, чтобы приправить ячменную, овсяную и ржаную каши, крошили репу, салат, редиску и морковь. Рядом с ними другой какой-то повар возился с рыбами, сваренными в разбавленном вине; он намазывал их соусом из шалфея, петрушки и тимьяна, чеснока, перца и соли.

Огромный хлебный очаг у дальней стенки западной башни полыхал рыжеватым огнем. В башне, глядевшей на юг, тоже топилась печь. В ее громадном устье кипятились кастрюли, повертывались вертела. В эту самую минуту распахнулись другие двери, выходящие на ток позади церкви, и скотники через них стали втаскивать туши свежезаколотых свиней. Мы прошли в эти распахнутые двери и оказались на току, на восточной окраине подворья, под стеною, вдоль которой цепью вытянулись службы. Северин показал нам, что левее всего расположена свалка навоза,

далее идут конюшни, за ними – стойла, птичий двор и крытый загон для овец. Возле выгребной канавы свинари размешивали в огромном чане кровь заколотых свиней. Если сразу же ее хорошенько промешать, как нам объяснили, она может сохраняться свежей на этом прохладном воздухе несколько дней, и потом из нее можно будет приготовить кровяные колбасы.

Воротившись в Храмину, мы двинулись в противоположную сторону и, войдя в дверь трапезной, едва успели окинуть ее взглядом, так как сразу же свернули на лестницу, начинавшуюся от восточной башни. Внутренность двух башен, примыкавших к монастырской трапезной, была устроена так: в северной располагался громадный камин, в восточной – винтовая лестница, приводившая в скрипторий, то есть на второй этаж. Тут ежедневно подымались монахи на работу. Можно было, как выяснилось, подняться туда и по двум меньшим лестницам, не таким просторным, как восточная, зато проходившим в самых прогреваемых местах – за камином и за кухонной печью.

Вильгельм спросил, найдем ли мы кого-нибудь наверху в скриптории, несмотря на воскресный день. Северин, улыбаясь, ответил, что работа для монаха-бенедиктинца – это та же молитва. В воскресенья все службы протекают немного долее, чем в будни, но монахи, приставленные к книжному делу, все равно проводят сколько-то часов в читальне, преимущественно отдаваясь душеполезному обмену учеными наблюдениями, советами, размышлениями над Святым Писанием.

Первого дня
После часа девятого,
где при посещении скриптория состоялось
знакомство со многими учеными, копиистами и
рубрикаторами, а также со слепым старцем,
ожидающим Антихриста

Поднимаясь, я заметил, что учитель осматривает окна лестницы. Я, наверное, становился не менее наблюдателен, чем он, так как сразу определил, что подобраться к ним почти невозможно. В то же время окна трапезной, единственные в первом этаже выходившие на откос, казались недоступными, учитывая, что высокой мебели под ними не было.

Лестница кончилась. Повернув снова, мы вступили в скрипторий из северной башни, и я вскрикнул от восхищения. Второй этаж не был разгорожен, как нижний, и открывался взору во всей поместительности. Гнутые вольты, не слишком большие (меньшие, чем в церкви, но более высокие, чем в любой виденной мною капитулярной зале), укрепленные мощными пилястрами, замыкали пространство, залитое изумительным светом от трех огромных окон в каждой большой стене и от малых окошек в каждой из пяти граней каждой угловой башни. Еще восемь вытянутых высоких окон, выходивших во внутренний восьмиугольный колодец, давали дополнительное освещение.

Благодаря изобилию окон все громадное помещение выглядело веселым. Свет поступал со всех сторон, не было ни теней, ни полумрака, хотя серый зимний день уже близился к своему закату. Стекла в окнах были не цветные, как это делают в церквях; здесь свинцовыми переплетами удерживались квадраты совершенно прозрачного стекла, чтобы свет в эту залу проходил без всяких

примесей, не преобразенный человеческими ухищрениями, и служил своей главной цели – озарять работу чтения и письма. Не однажды приводилось мне осматривать скрипторий, но ни в одном из них столь блистательно не представало мне в переливах физического сияния, заставлявших все кругом себя светиться и сверкать, то духовное начало, олицетворяемое стихией света – claritas, которое есть кладезь любой красоты и любой премудрости и неотъемлемое качество той гармонии, которая показывалась во всех пропорциях залы. Ибо три условия должны сойтись для нарощдения красоты: прежде всего целокупность, сиречь совершенство, и потому мы считаем уродливыми незавершенные вещи; далее, достойная пропорциональность, сиречь соразмерность; и, наконец, яркость и светлота, и поэтому мы считаем красивыми вещи ясных цветов. И поскольку созерцание красоты доставляет покой в душу, а для нашей души едино, предаваться ли покою, добру или красоте, я и ощутил в душе своей величайшее успокоение и подумал, до чего, должно быть, приятно заниматься в таком чудеснейшем месте.

В тот послеполуденный час оно представало пред моими очами как некая дивная кузня всезнания. Впоследствии я посетил в Сан-Галло скрипторий похожего вида, и так же обособленный от библиотеки (в других монастырях пишущие трудились в комнатах, где сохранялись и книги), но не столь необыкновенно удобно устроенный, как этот. Антиквары, библиотекари, рубрикаторы и изыскатели сидели каждый у собственного стола, по одному столу под каждым из окон. И поелику тех окон было ровно сорок (число истинного совершенства, рощаемое удесятерением квадрата, как если бы десять заповедей учетверялись четырьмя основными добродетелями), четыре десятка монахов могли бы под ними союзно трудиться, хотя в миг нашего появления их и сидело не более тридцати. Северин разьяснил нам, что монахи, посылаемые в скрипторий, освобождаются от богослужения третьего, шестого и девятого часа, дабы не вынуждаться прерывать свою работу в

светлое время суток, и покидают они скрипторий только на закате, перед вечерей.

Самые светлые места были отданы антикварам, лучшим миниатюристам, рубрикаторам и переписчикам. На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк. У писцов под рукою, на гребнях покатых столешниц, были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернила и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках.

Но не было возможности вникнуть в их работу, потому что навстречу спешил библиотекарь – как мы уже знали, Малахия Гильдесгеймский. Он явно хотел выказать радушие, но я поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок, и при редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он шагал, окутанный черным орденским платьем, в его фигуре было что-то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На лице лежал отпечаток страстей, по-видимому усмиренных усилием воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так пристально, что, мнилось, пронизали душу собеседника, читая тайные помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупить, спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза.

Библиотекарь представил нам работавших. О каждом Малахия рассказывал, над чем тот трудится, и я с восторгом находил во всех глубочайшую преданность науке и познанию слова Божия. Так мы познакомились с Венанцием Сальвемекским, переводчиком с греческого и арабского, приверженцем того самого Аристотеля, который несомненно был и будет великомудрейшим во человецех. С Бенцием из Упсалы, юным скандинавом, знатоком риторики. С

Беренгаром Арундельским, помощником библиотекаря. С Имаросом Александрийским – переписчиком книг, получаемых библиотекой на несколько месяцев из других мест. А также с миниатюристами из разных стран: с Патрицием Клонмакнойзским, Рабаном Толедским, Магном Ионским, Вальдом Герефордским.

Я мог бы продолжить этот перечень, о, всего на свете привлекательнее перечень в своей неизъяснимой наглядности! Но нужно передать беседу, так как в ходе ее частично объяснилось смутное беспокойство, ощущаемое всеми, и наметилось нечто невысказанное, но подразумевавшееся в речах.

Сперва учитель похвалил Малахии красоту и удобство скриптория и спросил о порядке пользования книгами, ибо – осторожно пояснил он – слышав множество похвал этой библиотеке, сам мечтал осмотреть ее сокровища. На это Малахия повторил то же, что мы слышали от настоятеля: что монахи просят у библиотекаря необходимые книги, а тот приносит их сверху из хранилища – если находит запрос обоснованным и благочестивым. Вильгельм спросил, как же узнать названия книг, хранящихся наверху, и Малахия указал на толстый прикованный золотой цепью к его столу кодекс, исписанный дробными столбцами.

Вильгельм сунул руки в рясу на груди, где она складывалась в некое подобие сумки, и вынул вещь, которую я в дороге уже видел и в руках у него, и на носу. Это была рогатка, приспособленная сидеть на носу у человека (в особенности на таком крупном, орлином носу, как имел учитель) – в точности как сидит всадник на коне и птица на жердочке. На концах рогатки, так чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждое с донце стакана. Читая, Вильгельм вздевал это на нос и заверял, что видит значительно лучше, нежели позволяют природное зрение и преклонный возраст, особенно когда дневное светило склоняется к закату. Эта снасть помогала видеть не вдаль (вдаль он и без нее видел превосходно), а вблизи, благодаря чему он мог читать самый мелкий почерк, такой,

что даже я затруднялся разбирать. Он объяснил, что каждый из людей, пройдя до половины жизнь земную, даже тот, кто был знаменит отменной зоркостью ока, ощущает, что зрение его отупело и зрачки разучились прилаживаться к рассматриваемому предмету, отчего многие ученейшие мужи, проводив пятидесятую весну, считай что умерли для чтения и письма. Суровая казнь мудрецам, которые, не будь того, долгие бы еще годы являли миру цвет своей учености. И потому надо возблагодарить Господа за то, что открыт и сделан чудеснейший снаряд. Тем самым, добавлял Вильгельм, оправдывается убеждение столь почитаемого им Рогира Бэкона, что одна из задач науки – продление человеческого века.

Монахи следили за Вильгельмом с любопытством, хотя расспрашивать не решались. Однако было ясно, что даже тут, среди людей, посвятивших жизнь чтению и письму, о замечательном изобретении пока не слыхивали. И я с гордостью подумал, до чего приятно сопровождать человека, способного поразить столь многознающих, прославленных во всем мире мужей.

Уставив против глаз свой снаряд, Вильгельм склонился к кодексу. Заглянул в списки и я, и взору открылись названия как совершенно неведомых книг, так и известнейших – всех имевшихся в библиотеке.

«„О звезде Соломоновой“, „Искусство изъяснения на еврейском языке и постижения оно“, „О свойствах металлов“ Рогира Герефордского, „Алгебра“ аль-Хорезми^[55], переложенная на латынь Робертом Англom, „Пунические войны“ Сильвия Италика, „Деяния франков“, „Хвала святому кресту“ Рабана Мавра, „Флавия Клавдия Иордана о возрасте мира и человечества, с расположением по литерам и книгам, от А до Z“, – читал учитель. – Великолепные труды. Но каков порядок их размещения? – И он наизусть повторил отрывок из неизвестного мне, но явно знакомого Малахии руководства: – „Смотрителю ж имать память накопленных писаний из их толка и из их творца, отставляя всякий толк особо и прилагая

ко всякому творению памятное клеймо“. Как иначе находить их на полках?»

Малахия ткнул пальцем в цифирь, проставленную сбоку от каждого названиями: «III, IV уровень, V в первой греков; II, V уровень, VII в третьей англо», и так далее. Я догадался, что первая цифра обозначает положение книги на полке, полка определяется по второй цифре, по третьей – шкаф, а словами, по-видимому, обозначены комнаты или коридоры книгохранилища. И тут же решил расспросить поподробнее об этих последних таинственных обозначениях. Малахия глянул на меня сурово: «Вы либо не слышали, либо не запомнили, что вход в библиотеку дозволен только библиотекарю. А посему достаточно и даже необходимо, чтоб библиотекарь один разбирался в этой цифири».

«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке? – спросил Вильгельм. – По-моему, не предметный. О расположении по заглавным буквам имен авторов, в порядке алфавита, речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось».

«История библиотеки уходит в глубь веков, – отвечал Малахия. – И с давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем».

«Очень трудно искать», – заметил Вильгельм.

«Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда она поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке. Но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу знания.

«Понятно, – сказал на это Вильгельм. – Значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом пятиугольнике, вы указываете мне название – к примеру, то, которое мы только что

видели в списке, – а затем, сверившись с цифирью, приносите книгу из хранилища».

«Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой, – отвечал Малахия. – Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение Аббата».

«Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов, – сказал тогда Вильгельм, – недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы?»

«Адельм Отрантский, – нехотя ответил Малахия, в упор разглядывая Вильгельма, – допускался, по незрелости лет, только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов странные и невиданные, как те, кто сращивает человеческое туловище с головою коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался».

Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы Псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячьей кожи – дивного, царственного пергамента. Последний, неоконченный, до сих пор был прибит к столешнице. Вылощенный пемзой, умягченный мелом, растянутый на станке, он был наколот по краю мельчайшими дырочками-вешками, направляющими руку мастера.

На половине листа, заполненной текстом, художник разметил по полям контуры рисунков. Взглянув на другие, уже готовые листы, мы с Вильгельмом ахнули. На полях Псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку. Будто в преддверии речи, которая по определению речь самой Истины, – велся иной рассказ, с той Истиною крепко увязанный намеками *in aenigmate*^[56], лукавый рассказ о мире вверх тормашками, где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человеческими руками, вывернутыми на спину, головы, ощетинившиеся ногами, зебровидные драконы, существа со змеиными шеями, заплетенными в тысячу невозможных узлов, обезьяны с рогами оленя, перепончатокрылые сирены, безрукие люди, у которых на спине, как горбы, растут другие люди, и тела с

зубастыми ртами пониже пупа, и люди с конскими головами, и кони с человеческими ногами, и рыбы с птичьими крылами, и птицы с рыбьими хвостами, и однотелые двуглавые чудища, и двутелые одноглавые; коровы с петушьими хвостами, с мотылевыми крылами, жены с лицами чешуйчатыми, словно рыбы бока; двухголовые химеры, породненные с ящеричьемордыми стрекозами, кентавры, драконы, слоны, мантихоры, лаконоги, растянувшиеся на древесных ветвях, грифоны, из хвостов которых выходили лучники в боевом вооружении, адские исчадия с нескончаемыми шеями, вереницы человекоподобного скота и звероподобного люда, семейки карл – и тут же помещались, с ними на одной странице, картины сельского хозяйства, где с дивной живостью изображался, так что можно было поверить в те фигурки как в живые, весь труд крестьянина: и полевая страда, и пахота, и сбор, и косьба, и сучение шерсти, и сев; а среди всего этого хозяйства лисы и белодушки, вооружась самострелами, брали приступом многобашенные обезьяньи города. Где-то буквица инициала сверху образовывала L, снизу оканчивалась драконьим задом; где-то заглавная V, открывавшая слово «Verba», пускала около себя, как виноград пускает лозы, тысячекольцых змей, от которых в свою очередь почковались новые ползучие гады, как от веток почкуются новые грозди и побеги.

Сбоку от Псалтири лежал, по-видимому, завершенный совсем недавно, драгоценнейший часослов невероятно малого размера, такой, что я поместил бы его на ладони руки. Мельчайшие записи и маргинальные рисунки с первого взгляда показывались как будто неразборчивыми, и просились ближе к оку, дабы око, приспособившись, насладилось всей необъятностью их красоты. И ты мог только гадать, каким же сверхчеловеческим орудием художник сумел добиться подобной отчетливости при подобной мелкости изображения. Все поля были заполнены маломерными фигурками, рождавшимися, как будто чрез обычные природные пути, из изящнейшего охвостья великолепно очерченных литер: морскими сиренами, резвоскачущими оленями, химерами,

безрукими человеческими обрубками, которые высывались повсюду, как червяки, из тесной плоти письма. В каком-то месте, прилепившись прямо к троекратному «Свят, Свят, Свят», повторявшемуся подряд на трех строчках, размещались три звериных туловища о человеческих головах, из которых двое тянулись друг к другу, одно чудище вверх, второе вниз, совокупляясь в поцелуе, который я без колебаний определил бы как непристойный, когда бы не был совершенно уверен, что пускай не очевидное, а укромное, глубинное, но непременно имеется некое духовное содержание сего зрелища, без сомнения оправдывающее и вид его, и расположение на той странице.

Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки сместили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевши, ухмыльнулся и сказал: «Бейбвинами их зовут у меня на островах».

«А галлы – бабуэнами, – отозвался Малахия. – Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во Франции. Бабуины, сиречь африканские обезьяны. Обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе».

У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я не удержавшись прочел:

Alter Wunder si geswigen,
das Herde Himel hât überstigen,
das suit is vür ein Wunder wigen^[57].

А Малахия подхватил с той же строки:

Erd ob un Himel unter

das sult ir hân besunder
Vür aller Wunder ein Wunder^[58].

«Молодец, – похвалил он меня, – верно, Адсон, это картины краев, куда едут на синей гуске, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами, раки летают на голубицах, три великана сидят в мышеловке, а петух их щиплет да поклевывает».

И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, захохотали во всю глотку, как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились, любуясь работой злосчастного Адсельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозно и гулко прогремело:

«Пустословие и смехотворство неприличны вам!»

Мы оборотились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый как снег, весь белый – не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп. Но голос его сохранял властность, а члены – крепость, хотя спина и сгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения. А по речи казалось, что он обладает и даром прорицания.

«Сей муж, славный годами и ученостию, – сказал Малахия Вильгельму. – Хорхе из Бургоса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттаферратского, и он тот самый, к кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь. – И продолжил, обратаясь к старцу: – Перед вами брат Вильгельм Баксервильский, гость обители».

«Вы, верю, не прогневались на мой упрек, – отрывисто заговорил старец. – Я услышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правило нашего устава. Ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться даже от добрых речей, и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголет. Подобно

дурным речам, существуют дурные образы – те, которые клеветают на творца, представляя созданный им мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда пребудет, во веки веков, до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам». Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях Св. Франциска Ассизского, а может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов – самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости.

«Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания, – отвечал он. – Как в проповедь, чтобы затронуть воображение бессмысленной толпы, надо вводить *exempla*^[59] и желательно потешные, так и в беседе образов не следует пренебрегать подобными дурачествами. На каждую добродетель и на каждый грех есть пример в бестиариях, где под видом зверей показан человеческий мир».

«О да, – перебил его старец без улыбки, – не следует пренебрегать подобными дурачествами! Чтобы перл творения, повернув с ног на голову, выставить посмешищем! Пусть провождает слово Божие осел, играющий на лире, сыч, пашущий щитом, волы, друг друга запрягшие, реки, потекшие вспять, море, огнем горящее, волк, приявший схиму! Травите зайцев коровами, учитесь грамматике у филина, и пусть псы живут на блохах, слепцы подглядывают за немыми, а немые кричат „Дай поесть!“. Пусть стрекоза родит телка, жареный петух по небу летит, на крышах пряники растут, попугаи риторике учат, куры петухов топчут. Впрягайте телегу поперед лошади, кладите собаку на перину и гуляйте все вниз головою! К чему приведут эти шуточки? К искажению образа действительности. Все созданное Творцом поставят с ног на голову, под видом преподавания божественной теории!»

«Но Ареопагит^[60] учил, – смиренно возразил Вильгельм, – что Господа должно являть лишь через самые неприглядные вещи. И Гугон Викторинец доказывал, что, чем менее правдоподобно подобие, тем четче вырисовывается истина. Встречая страшные и странные личины, воображение оживает, и не расслабляется в плотской благостности, а понуждается искать истины, сокрытые под мерзостью вида...»

«Не новый довод! И со стыдом признаю, что он – первейший из доводов нашего ордена в период борьбы клюнийцев с цистерцианцами. Но прав был Св. Бернард: постепенно всякий, кто, собираясь проводить божественность *per speculum et in aenidmate*, занимается дикими и уродливыми явлениями, – войдет во вкус этого убожества и до того им проникнется, что уже ничего иного не видит. Да взгляните вы, еще не утратившие зрения, на капители вашего собственного храма. – И он ткнул пальцем в сторону окна, выходящего на церковь. – А ведь это рассчитано на братьев, погружающихся в медитацию! Что выражает это непотребное кривлянье, эта сумбурная гармония и гармоничный сумбур? Откуда эти обезьяны? Эти львы, кентавры, недочеловеки со ртом на брюхе, с одной ногою, с парусами вместо ушей? Зачем тут пятнистые тигры, воюющие бойцы, охотники, трубящие в рог, и многотелые существа об одной голове, и многоголовые об одном тулове? Четвероногие змеехвостые, и рыбы с головой четвероногого, и чудище, которое передом лошадь, а задом козел, и конь с рогами, и далее в подобном роде, так что теперь монаху интереснее глядеть на мрамор, чем в манускрипт, и размышлять он будет о человеческой искусности, а не о всемогуществе Божьем. Стыд, стыд вождедеющим очам и улыбке ваших уст!»

Чудный старец умолк, тяжело дыша. А я не мог надивиться острой памяти, которая ему, столько уж лет незрячему, так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел, – если и через столько лет он с такою страстью описывает их. С другой стороны, я встречал

и прежде самые соблазнительные картины греха в писаниях именно тех людей, которые, славны неподкупнейшей добродетелью, клеймили соблазн и последствия его. Доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине до того пламенная, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими Зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их к козням нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с обезьянами, которых я в первый раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно:

«Господь, наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплакиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вещно отображать. И дошел до самого дна, повторяю, – голос Хорхе зазвучал торжественно и жутко, – до самого дна нравственного падения. Но Господь умеет карать!»

Повисла тяжкая тишина. Венанций Сальвемекский осмелился вмешаться.

«Достопочтенный Хорхе, – сказал он. – Добродетель внушила вам пристрастные суждения. Ведь за два дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученой диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге: нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется во славу Господню, на благо познания божественных тайн? Брат Вильгельм тут цитировал Ареопагита о познании через уродство. А Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа – доктора Аквинского – о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому, что легче уберечься от ошибки. Ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит

граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь на земле, куда Он является чрез то, что не Он, несравненно чаще, чем чрез то, что есть Он. Подобие Божие в самых далеких от Него вещах с наибольшей точностью нам Его указывает, и так мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны сказать и помыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину чрез необыкновенные, остроумные и загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет...»

«Не помню, – сухо прервал его Хорхе. – Я очень стар. Не помню. Возможно, я был слишком резок. Теперь поздно, пора идти».

«Странно, как это вы не помните, – не отступался Венанций. – Это был ученейший и увлекательнейший спор, и в нем участвовали, кроме нас, Бенций и Беренгар. Речь шла о метафорах, словесных играх и загадках, которые, можно бы подумать, изобретаются пиитами только ради забавы – но которые способствуют судить о предметах новым, удивительным образом. Тогда я сказал, что это-то и требуется от мудрого суждения... И Малахия слышал...»

«Если преподобный Хорхе не помнит, уважь его года, не терзай утомленный ум... впрочем, острейший и поныне...» – вмешался кто-то из толпы, окружавшей спорящих. Голос звучал очень взволнованно, по крайней мере вначале, но, видимо, говоривший заметил, что, требуя уважать старика, публично указывает на его немощь, – и умерил пыл, а закончил и вовсе покаянным шепотом. Это был Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Молодой, бледнокожий; глядя на него, я припомнил, что Убертин сказал об Адсельме. У этого тоже были глаза блудливой женщины. Смущенный всеобщими взглядами, он стиснул пальцы рук, как бы пытаясь подавить сильнейшее нервное возбуждение.

Венанций повел себя довольно странно. Молча и пристально он глядел на Беренгара, пока тот не потупился. «Так вот, брат, – сказал он тогда, – коли память дар Божий, от Бога и умение забывать,

которое придется уважить... в престарелом собрате, с которым я спорил. Но от твоей-то памяти я ждал большей живости. Ибо речь идет о том, что произошло здесь в присутствии твоего дражайшего приятеля...»

Не припомню, сделал ли Венанций особое ударение на слове «дражайший». Но в любом случае присутствующими овладело замешательство. Все старались не смотреть друг на друга, а особенно на Беренгара, покрасневшего до ушей. В тот же миг прозвучал властный голос Малахии. «Идемте, брат Вильгельм, – сказал он. – Я покажу вам другие интересные книги».

Монахи расходились. Я видел, как Беренгар метнул на Венанция взгляд, полный немой упрёк, а тот ответил яростным вызывающим взглядом. Видя, что старый Хорхе готовится уйти, я нагнулся и в порыве почтительнейшего восхищения поцеловал его руку. Старец наложил мне длань на голову и спросил, кто я. Услышав мое имя, он просветлел.

«Ты носишь гордое и равное имя, – сказал он. – Знаешь, кто такой Адсон из Монтье-ан-Дера?» Сознаюсь, что в ту пору я не знал. И Хорхе пояснил: «Это автор дивного устрашающего сочинения „Об Антихристе“, в коем предсказано все, чему суждено случиться. Но к нему не пожелали прислушаться...»

«Книга была написана до тысячного года, – сказал Вильгельм, – но в тысячном году ничего не произошло».

«На взгляд того, кто не умеет видеть, – ответил слепой. – Пути Антихриста медлительны и дики. Он тогда является, когда не предчувствуем его. И не апостол ошибался, а мы, не нашедшие ключа к расчету». И вдруг закричал громовым голосом, обернувшись к залу и раскатывая гулкое эхо под высокими вольтами скриптория: «Вот идет он! Не теряйте последние дни в зубоскальстве над пятнистыми хвостатыми уродами! Не тратьте последние семь дней!»

**Первого дня
Вечерня,
где осматриваются прочие постройки,
Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и
ведется беседа со стекольным мастером о
стеклах для чтения и острастке для тех, кто
слишком любит читать**

Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы. Малахия дал нам понять, что должны выйти и мы. Он же оставался с помощником, с Беренгаром, чтобы прибрать и (как он выразился) подготовить библиотеку к ночи. Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери.

«У нас нет дверей, преграждающих доступ в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище из скриптория. Крепче любых дверей обязан быть запрет настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще два часа, до повечерия. Засим, дабы случайно не забрели в Храмину посторонний человек, либо животное (те, для кого запрета не существует), я самолично запираю нижние входы, ведущие в трапезную и в кухню. С этой минуты в Храмину войти нельзя».

Мы спустились. Монахи спешили к церкви. Но учитель сказал, что Господь простит нас, даже если мы пропустим богослужение (немало Ему пришлось нам прощать и в последующие дни!), а взамен предложил мне прогуляться с ним по обители, чтобы лучше исследовать местность.

Мы вышли из кухни, пересекли кладбище. Среди надгробий видны были и совсем свежие, и старинные, отмеченные печатью времени: немая повесть о жизни тех, кто был тут в монашестве в

прошлые столетия. Все гробницы были безымянные, венчались каменными крестами.

Погода начинала портиться. Подымался холодный ветер. Небо туманилось. С трудом угадывалось место солнечного заката где-то за огородами, и почти полная темнота уже стояла в стороне востока, куда мы и направились, минуя церковный хор, и вышли на самую далекую от въездных ворот площадку. Там почти под самой крепостной оградой, вплотную прижимаясь к ней в том месте, где она перерастала в восточную башню Храмины, располагались хлевы. Около них свинари кончали вымешивать кровь и укрывали бочку крышкой. Нам сразу бросилось в глаза, что за хлевами крепостная стена резко понижается, так что через нее можно наклонить голову. По ту сторону стены почва стремительно уходила вниз, и где-то в глубине обрыва виднелась площадка, заваленная мусором, который и снегом укрывался не целиком, так что весь был на виду. Я понял, что под нами та самая выгребная яма, в которую с этого уступа стены вываливают отбросы и которая простирается вплоть до памятной развилины дорожек, откуда ответвляется тропа, увлекшая Гнедка. Я назвал эту свалку выгребной ямой потому, что в основном она состояла из груд смердящих выделений, зловоние от которых, невзирая на глубину обрыва, доходило даже до моего носа; как я понял, поселяне из нижних деревень брали отсюда навоз для удобрений. Однако наряду с испражнениями людей и животных в яме было достаточно много и твердых отходов: сюда сваливались, по-видимому, все отмиравшие ткани, все нечистоты, которые аббатство исторгало из чрева, оставаясь в чистоте и опрятности, соблюдая дивный союз с овершием горы и с непорочными небесами.

Неподалеку, на конюшне, работники подводили коней к яслям. Мы прошли из конца в конец дорожку, вдоль которой с внешней стороны тянулись скотный и птичий дворы, а по другую руку – пристроенные к хору почивальни и рядом отхожие места. Там, где восточная стена оканчивалась и образовывала угол, встречаясь с

южной, в самом углу площадки, находилась кузня. Последние работники укладывали вещи на места, тушили горны, собираясь к вечерне. Вильгельм, полный любопытства, устремился к кузне, где в отгороженном спереди покое какой-то монах укладывал свое добро. Перед ним на прилавке располагалась целая выставка чудесных цветных стекол, хотя и довольно мелких; но широкие необработанные пластины тех же цветов стояли рядом, у стены. Стояла перед монахом и недоделанная рака, то есть пока что серебряный остов раки, но кое-где были уже вставлены стеклышки и цветные камни, обточенные в виде перлов.

Так мы познакомились с Николаем из Моримунды, монастырским витражным мастером. Он рассказал нам, что в задней половине кузни выдувают и стекло, а здесь, в передней, кузнецы оковывают стекла свинцом для витражной работы. Хотя, добавил он, основная витражная работа, украшающая собою и церковь, и Храмину, выполнена уже давно – тому не менее двух столетий. Теперь все сводится к починкам, к исправлению зол, причиняемых временем.

«Но сил уходит немало, – продолжал он, – потому что нам не даются секреты старого стекла. Невозможно подобрать цвет. Особенно тот синий, который до сих пор очаровывает взор в церковном хоре. Это синий такой чистоты, что отвесный луч солнца, проходя через стекло, окрашивается в краски рая. Стекла в западном приделе, замененные недавно, гораздо худшего качества, и летом это заметно. Куда там! – заключил он. – Ушло умение наших предков, окончился век великанов!»

«Да, мы карлики, – согласился Вильгельм, – но стоящие на плечах тех гигантов... Поэтому, даже при нашей малости, видим дальше, чем они...»

«Да? В чем же мы их опередили? Чего они не сумели? – воскликнул Николай. – Сойди в крипту нашей монастырской церкви, где содержатся сокровища, и увидишь там раки такой тончайшей работы, что это страшилище, которое я сейчас с великим старанием

собираю, – и махнул на незаконченный ковчежец, – покажется обезьяной тех!»

«Нигде не писано, что мастера-стекольщики обязаны до скончания времен клепать витражи и оклады, коль скоро предки умели делать их намного лучше и так надежно, чтоб продержалось несколько столетий. Надо ли наводнять землю ковчегами для святых мощей, если святые в наше время встречаются очень редко? – улыбнулся Вильгельм. – И надо ли без конца возиться с витражами? В иных странах я видал такие стекольные работы, которые говорят уже о завтрашнем дне. Скоро при помощи стекла станут не только отправлять обряды, но и исправлять природу. Хочу показать тебе творение, уже обращающееся среди умельцев, коего превосходный образец имеется и в моем хозяйстве». Он сунул руку в рясу и извлек на свет свои глазные стекла, при виде которых наш собеседник остолбенел.

Почти мгновенно глазной снаряд оказался в руках Николая. «*Oculi de vitro cum capsula*^[61]! – воскликнул он. – Я слышал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана! Он говорил, что такой прибор был изобретен за двадцать лет до того. И еще прошло не менее двадцати лет...»

«Полагаю, что их изобрели намного раньше, – сказал Вильгельм. – Но изготовление их трудоемко, и требуются очень опытные стекольщики. Долгое, кропотливое дело. Десять лет назад одна пара таких вот *vitrei ab oculis ad legendum*^[62] шла с торга в Болонье за шесть сольдов. А мне подарил такую же пару знаменитый мастер Сальвин из Армати, уже больше десяти лет назад, и все эти годы я берег их как зеницу ока... Впрочем, теперь они и впрямь у меня вместо зеницы».

«Может быть, ты как-нибудь на днях сможешь ненадолго их мне одолжить? Очень хочется понять устройство... Попробовать сделать похожее...» – сказал Николай.

«Конечно, дам, – отвечал Вильгельм. – Но имей в виду, что толщина стекол для каждого глаз требуется особая, и обычно берут

много пар обточенных стекол, и заказчик пробует все по очереди, пока не подберет подходящие».

«Чудеса! – не утихал Николай. – Кое-кто, конечно, заподозрил бы тут сделку с дьяволом...»

«Можно, конечно, говорить и о магии, – согласился Вильгельм. – Только магии есть два вида. Есть магия от лукавого, применяющая для гибели человечества такие средства, о которых опасно даже упоминать. И есть магия божественная, в коей небесная премудрость проявляется через премудрость человеческую и прилагается к преобразованию природы, а одна из главных ее задач – удлинить самое человеческую жизнь. Эта магия святая, и она должна привлекать мудрецов чем дальше, тем сильнее; и не только открытие новых тайн мироздания ожидает их, но и переоткрытие тех тайн, которые милостью Божией известны уже давным-давно евреям, грекам и прочим древним народам, а в нынешние дни известны язычникам (не могу и передать тебе, какое множество необыкновенных оптических ухищрений и закономерностей зрения показано в книгах, написанных неверными!). Всеми этими познаниями обязана завладеть христианская наука, вызволив от язычников и нехристей, яко владетелей несправедливых».

«Но почему же те христиане, которые уже овладели премудростями, не делятся ими со всем народом Божиим?»

«Потому что не все в народе Божиим готовы к восприятию премудростей, и случалось, что носителей науки принимали за ведунов, связанных с нечистой силою, и они платили жизнью за намерение поделиться с людьми сокровищами мысли. Я и сам, когда вел процессы о ведовстве, опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтоб они зачитывали материалы следствия. Ибо в противном случае, поскольку присутствие дьявола чувствовалось всеми, и каждый, так сказать, обонял серную вонь, меня самого могли посчитать сообщником обвиняемых. И в конце концов великий Рогир Бэкон упреждал, что не всегда научные тайны должны открываться любому, так как некоторые способны дурно

использовать их. Часто мудрецы выдают за магические самые обыкновенные книги, полные доброй науки, чтоб оберечь их от нескромного любопытства».

«Значит, ты боишься, что простецы могут употребить во зло твои секреты?» – переспросил Николай.

«Что до простецов, я могу бояться лишь, что они до смерти напугаются, приняв открытия науки за козни дьявола, о которых слишком много слышат от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составляющих лекарства от любой хвори. Так вот эти врачи, давая простецам настои и мази, непременно прибавляли священные слова или пение, напоминавшее молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а оттого что простецы, веря в целебность молитв, глотают настои и мажут мазью и выздоравливают, не очень-то вдумываясь, откуда берется исцеление. Да вдобавок и дух, умягченный верой в спасительное заклятие, располагает тело к приятию целебного препарата. Однако в иных случаях сокровища науки приходится прятать не от простецов, а от ученых. Ныне создаются необыкновенные махины, о коих как-нибудь расскажу, и они действительно позволяют изменять законы природы. Но горе, если попадут в руки тех, кто с их помощью замыслил расширить земную власть и утолить жажду обладания. Мне говорили, что в Китае один мудрец составил смесь, которая, коснувшись к огню, производит великое гудение и пламя, руша все на множество локтей вокруг. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течения рек и избавление пашни от валунов. А вдруг его обратят против врагов?»

«Может быть, и хорошо – если против врагов народа Божия», – степенно произнес Николай.

«Может быть, – согласился Вильгельм. – А кто у нас сейчас враг народа Божия? Император Людовик или папа Иоанн?»

«О Господи! – в страхе вскричал Николай. – Я не в силах ответить на этот ужаснейший вопрос!»

«Видишь? – сказал Вильгельм. – Вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать от козьей или овечьей шкуры. Аристотель в книге о тайном сказал, что от разглашения слишком многих секретов природы и науки ломается небесная печать и может выйти много зол. Это не значит, что тайны нельзя открывать. Но это значит, что мудрецы должны взвешивать и решать – как и когда».

«А потому справедливо, что в таких местах, как наше, – сказал Николай, – не все книги общедоступны».

«Это другое дело, – отвечал Вильгельм. – В грех вводит как избыток сведений, так и их недостаток. Я не говорю, что источники знаний должны быть под замком. Напротив, я считаю это безобразием. Я говорю иное: что, касаясь тайн, способных служить и добру и злу, мудрец может и даже обязан укрывать их за темными словесами, внятыми лишь таким, как он. Путь познания труден, и трудно отличить благое от дурного. А ученые новых дней – чаще всего карлики на плечах карликов...»

Приятная беседа с моим учителем, должно быть, расположила Николая к доверительности. Поэтому он мигнул Вильгельму (как бы говоря: мы с тобой друг друга понимаем, ибо думаем одинаково) и произнес с намеком: «А вот там, – кивнув на Храмину, – секреты науки надежно прячут другими способами. Магическими...»

«Да? – отозвался Вильгельм с необыкновенным равнодушием. – Воображаю: запоры, суровые запреты, угрозы...»

«Нет, не только это...»

«А тогда, к примеру, что же?»

«Ну, точно не знаю, я занимаюсь стеклами, а не книгами... Но в аббатстве ходят слухи... такие странные...»

«Какого рода?»

«Странные. Вот, скажем, один монах ночью решил забраться в библиотеку и найти что-то, что Малахия отказывался ему выдать. Он увидел змей, безголовых людей и двухголовцев. Чуть не лишился рассудка там в лабиринте...»

«Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве?»

«Потому что хотя я только бедный стекольщик, но кое-что понимаю. Дьявол (Господи спаси нас и помилуй!) искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне – сладострастными видениями. Далее. Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?»

«По-моему, – заметил Вильгельм, – это неплохой силлогизм».

«И наконец. Когда я чинил витражи в больнице, от скуки заглядывал в книги Северина. Среди них была книга о тайнах, принадлежащая, кажется, Альберту Великому. Я смотрел миниатюры и попутно прочел несколько страниц. Там говорилось, что особым составом можно пропитать фитиль масляной лампы, и пойдут запахи, вызывающие видения. А ты мог заметить – вернее, пока еще ты не мог заметить, потому что не ночевал в аббатстве, – что в темные часы верхний этаж Храмины освещен. В некоторых окнах горит слабый свет. Многие гадали, что бы это значило, и толковали о блуждающих огнях и о душах покойных библиотекарей, возвращающихся по ночам в свое царство. Многие верят. Но мне кажется, это светильники с дурманящим составом. Знаешь, если взять жир собачьего уха и пропитать фитиль – всякий, кто вдохнет дым, уверует, будто у него собачья голова. А увидит другого человека – и того увидит с песьей головой. От иных зелий людям мерещится, что они распухли, как слоны. А из глаз нетопыря и двух рыб, не помню каких, и из волчьей желчи получают испарения, от коих видишь всех этих тварей. От испарений ящеричьего хвоста все кругом становится как серебряное. А от жира черной гадюки и клочка простыни мертвеца по комнате будто расползаются змеи. Я догадался. У них в библиотеке кто-то очень хитер...»

«А ты не допускаешь, что это души покойных библиотекарей развели там магию?»

Николай осекся, растерялся и испуганно ответил: «Об этом я не подумал. Все возможно. Господь оборони нас... Уже поздно. Вечерня

началась. Прощайте», – и направился к церкви.

Мы двинулись дальше вдоль южной стены обители. По правой руке был странноприимный дом и капитулярная зала с садом, по левой – маслодавильня, мельница, амбар, погреб и общежитие послушников. Все встречные торопились в церковь.

«Что вы думаете о словах Николая?» – спросил я.

«Не знаю. В библиотеке кто-то орудует, и вряд ли это души покойных хранителей».

«Почему?»

«Потому что, полагаю, они были настолько добродетельны, что ныне в царствии небесном предаются созерцанию лика божественности... если подобный ответ тебя устраивает. Что касается ламп, это мы проверим. Что касается смесей, описанных нашим добрым стекольщиком, – существуют и более простые способы вызывать видения, и Северину эти способы, как ты сегодня мог заметить, отлично известны. В общем, кто-то в аббатстве не желает, чтоб в библиотеку ночью проникали, а кто-то другой, и даже многие другие, пытались и пытаются все же туда проникнуть».

«А наше убийство как с этим связано?»

«Убийство? Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Адельм покончил с собой».

«Почему вы так думаете?»

«Помнишь, утром я говорил о свалке отбросов? Когда мы поднимались к восточной башне, я заметил следы оползня. Значит, какой-то пласт почвы примерно в том месте, куда сваливают мусор, тронулся с места и сполз до самой восточной башни. Кроме того, сейчас, когда мы шли мимо свалки, ты должен был заметить, что на ней очень мало снега. Видимо, только вчерашний. А весь снег предшествующих дней снесен бурей. Вдобавок Аббат сказал, что труп Адельма побит о скалы, а под восточной башней, где его нашли, скал нет: там растут пинии. Скалы имеются, напротив, как раз под тем участком стены, где она понижается, образуя ступень, и откуда сбрасывают мусор...»

«И что из этого?»

«Что из этого – подумай сам. Не будет ли, как бы сказать, экономней для разума предположить, что Адельм сам собою, по причинам, которые еще предстоит выяснить, бросился с уступа стены, разбился о скалы и мертвый (или израненный, это неизвестно) попал в кучу мусора? Затем лавина, снесенная ночным ураганом, обрушила участок почвы вместе с мусором и телом бедняги к подножию восточной башни».

«Почему это предположение будет экономнее для разума?»

«Милый Адсон, никогда не следует без особой необходимости множить объяснения и причины. Чтобы Адельму выпасть из окна восточной башни, ему сначала нужно было проникнуть туда. Потом его кто-то должен был стукнуть, чтоб подавить сопротивление. Потом каким-то способом забраться с безжизненным телом на высокое окно, открыть его и выбросить тело. В то время как для моей гипотезы требуются только Адельм, его намерение и оползень. При этом мы экономим на причинах».

«А зачем ему было кончать с собой?»

«А зачем его было убивать? Объяснение придется искать в обоих случаях. Что оно есть – для меня несомненно. В Храме пахнет недомолвками, все что-то скрывают. Тем не менее кое-какие указания мы получили, хотя и очень смутные, – на сложные отношения Адельма с Беренгаром. Следовательно, помощником библиотекаря придется заняться».

Пока он рассуждал, вечерня кончилась. Прислуга возвращалась к службам, чтобы до ужина кончить дела. Монахи шли в трапезную. Стемнело; начинался снегопад. Легкий снег повалил небольшими пушистыми хлопьями, чтоб идти, по-видимому, всю ночь – я так сужу, ибо утром подворье было укутано белейшим покровом, о чем еще предстоит рассказать.

Я проголодался и был доволен, услышав предложение отужинать.

Первого дня Повечерие, где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе

Трапезная освещалась большими факелами. Монахи сидели вдоль ряда столов, упирившегося в стол Аббата, поставленный перпендикулярно на просторном возвышении. На другой оконечности была кафедра, где уже разместился монах, читающий за ужином. Аббат ждал нас у рукомоynика с белой холстиной, чтоб обереть руки – точно по древнему завету Св. Пахомия.

Аббат пригласил Вильгельма к своему столу и сказал, что сегодня я, как новоприезжий, удостоюсь той же чести, хотя я только послушник-бенедиктинец. В будущем, с отеческой заботой добавил он, я могу садиться с монахами. А если буду отвлечен заданиями наставника – на кухне меня накормят в любое время.

Монахи поднялись и встали вдоль столов неподвижно, с опущенными на лицо куколями, сложив руки под нарамниками. Встав на место, Аббат прочитал *Benedicite*^[63], следом чтец на кафедре начал *Edent pauperes*^[64]. Аббат благословил братьев, и все уселись.

Правилom нашего основателя предуказан довольно скудный ужин, но аббатам оставлено право решать, в каком именно питании нуждается братия. К тому же у нас, бенедиктинцев, нет строгостей в отношении стола. Я говорю, конечно, не о тех обителях, которые постыдно превратились в прибежища обжорства. Но даже и там, где все подчинено добродетели и покаянию, инокам, погруженным в утомительный умственный труд, полагается не чрезмерный, но основательный рацион. При этом стол аббата всегда отличается от общего. За ним нередко принимают важных гостей, а всякому

хозяину приятно похвалиться изобилием стад и угодий и искусством поваров.

Монахи ели, как принято, молча, при необходимости сообщаясь бенедиктинской азбукой пальцев. Послушникам и самым молодым монахам еду подносили первым, сразу за тем как блюда, назначенные и для общего употребления, покидали стол Аббата.

С нами подле Аббата сидели Малахия, келарь и два самых пожилых монаха – Хорхе из Бургоса, слепой старец, которого мы видели в скриптории, и дряхлый-предряхлый Алиnard Гроттаферратский, без малого столетний, шепелявый и немощный, и, по-моему, выживший из ума. Аббат сказал, что он и послушание принимал в этом монастыре, и жил всегда в нем, так что провел тут не менее восьмидесяти лет. Все это Аббат говорил вполголоса, а затем вовсе смолк, в уважение орденского правила, и молча слушал чтение. Однако я уже отметил, что за аббатским столом допускались некоторые вольности. И мы сказали несколько слов в одобрение подаваемых блюд, а Аббат в ответ не мог не похвалиться отменным качеством своего масла и вина. При этом, смешивая нам питье, он прочел наизусть те параграфы устава, в которых святой основатель возглашает, что, конечно же, вино монахам неуместно, но понеже в наступившие времена нет возможности убедить их вовсе не пить, пусть хотя бы не упиваются, ибо вино способно совратить и праведников, о чем упреждает Екклесиаст. Бенедикт под «наступившими временами» разумел свои, ныне давние невпрогляд. Что уж говорить о поре, в которую был описываемый ужин, при толиком падении нравов! (А о своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю – добро еще что в Мельке предпочитают пиво...) В общем, братия выпивала хотя в меру, но со вкусом.

Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней, и я заметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир и не рапсовое масло, а доброе оливковое, полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы, на морском

берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка – того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилась в глаза редкостная вещица у Аббата в руках – металлическая вила, похожая на ту, которая скрепляла учителявы стекла. Благородное воспитание, видно, не позволяло Аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое орудие, хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы Аббат не подумал, что францисканцы люди необразованные и низкого происхождения.

Я до того был рад отменной закуске (после многих дней пути, в котором мы перебивались чем случится), что не следил за чтением, каковое благочинно текло далее. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхе. Я понял, что оно относилось к читаемому на каждой трапезе параграфу правила. Когда я вслушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано: «Уподобимся пророку, сказавшему: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мною, согбен я и весь поник, был нем и безгласен и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздержаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных! Дабы не принять муку за этот грех!» И продолжалось: «Словоплетение же, пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно и не позволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей».

«Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили! – не удержался Хорхе. – И Иоанном Златоустом сказано, что Христос никогда не смеялся!»

«Ничто в его человеческой натуре ему не мешало, – возразил Вильгельм. – Ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству».

«Хоть и мог, однако не писано, чтоб смеялся», – решительно прервал его Хорхе цитатой из Петра Певца.

«Ешь, жаркое готово», – прошептал Вильгельм.

«Какое?» – спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо.

«Эти слова, по Амвросию, произнес Св. Лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке, и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и Пруденций^[65] в “Книге о мученических венцах”, – сказал Вильгельм с самым святым видом. – Следовательно, Св. Лаврентий любил шутку и сам умел шутить – хотя бы чтоб торжествовать над врагами».

«И тем доказывается, что смех – вещь близящая к смерти и к телесному разложению», – прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика.

Тут Аббат незлобиво напомнил нам о правиле. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав его опытность и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных. И всячески помогать следствию, при условии, добавил Аббат, что намерения Вильгельма не пойдут вразрез с уставом монастыря. В каком случае следует обратиться к нему, Настоятелю.

Отужинав, монахи засобирались в хор к повечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище и потянулись к северному portalу хора.

Мы вышли с Аббатом. «В этот час двери Храмины замыкаются?» – спросил Вильгельм.

«Как только служки уберут в трапезной и на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засов».

«Изнутри? А сам он как выйдет?»

Аббат в упор посмотрел на Вильгельма. Потом сурово и резко ответил: «Спать в кухне он не собирается». И ускорил шаг.

«Вот оно что, – прошептал мне на ухо Вильгельм. – Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул: «Пожалуйста, не хихикай. Видел – в этих стенах смех не жалуют».

Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной, бронзовой, в два человеческих роста треноге. Монахи разместились на седалищах, а чтец читал из Св. Григория.

Потом Аббат дал знак, и каноник завел «Помилуй нас, Господи». Аббат в ответ: «Помощь моя от Господа», и все хором подхватили: «Сотворшего небо и землю». Потом запели псалмы: «Егда воззвати ми, услыши мя, бог правды моей», и: «Возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим», и: «Хвалите, рабы, Господа, хвалите имя Господне».

Мы не проходили в места хора, оставаясь в главном нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни.

«Запомни место, – сказал Вильгельм, – наверное, там ход, ведущий в Храмину».

«Под кладбищем?»

«Почему бы нет? Скорее всего... Если подумать, где-то у них обязательно должно быть мощехранилище. Потому что столько монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли».

«Вы действительно хотите ночью идти в библиотеку?» – спросил я, леденея от ужаса.

«К покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам... Бедный Адсон. Нет, мальчик, не пойду. Я подумывал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, отчего погиб Адельм. Но теперь, имея, как ты слышал, более логичное объяснение и все взвесив, я решил уважать законы места, где нахожусь».

«Тогда зачем вам ход?»

«Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но верней всего не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, чтоб другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо. А эта библиотека, по моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают».

С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились в келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм шутя именовал «гробиком», и немедленно заснул.

День второй

Второго дня Полунощница, *где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом*

Символ порою дьявола, порою Христа распятого, всякой твари лукавее петух. Помнят в нашем ордене и таких, которые ленились петь на заре. К тому же в зимние утра полунощница служится, когда ночь еще глубока и вся натура спит; а монах обязан подниматься в темноте и долго в темноте же творить молитвы, поджидая приход дня и разгоняя морок пламенем искренней веры. Для того есть мудрое правило, чтобы в черед монахи-бодрственники, не ложившись с братией, бдели всю ночь, мерно отчитывая нужное количество псалмов и тем измеряя минувшее время, и по истечении часов, отведенных другим на сон, давали бы знак к пробуждению.

Поэтому мы были разбужены назначенными монахами. Они прошли по корпусам и странноприимному дому с колокольчиками, и один, заглядывая в кельи, возглашал: «Благословим Господа», а из келий отвечали: «Богу благодарение».

Мы с Вильгельмом положили исполнять бенедиктинский обычай, меньше чем в полчаса приготовились встретить новый день и с тем сошли в хор, где монахи, павши ниц, читали первые пятнадцать псалмов в ожидании, пока наставник приведет послушников. Тогда каждый утвердился на своем седалище, и хор завел: «Господи уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу твою». Вопль его полетел к высоким вольтам, как детский плач. Два инока взошли на амвон и начали девяносто четвертый псалом: «Приидите, воспоем Господу», а за оным – следующие по предписанию. И душа моя запылала пламенем обновленной веры.

Монахи застыли на местах: шестьдесят фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями, шестьдесят теней, еле освещенных

огнем с треноги, шестьдесят голосов, истово выхваляющих Всевышнего. И изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских усад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, незаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравогомыслия, крепостью познания, помещищем кротости, оплотом твердости, кадиллом святости.

Спев шесть псалмов, читали Писание. Некоторых монахов клонило в сон, в один ночной бодрственник обходил места с маленькой лампадою, ища дремлющих. Кого заставляли в полусне, тому в наказание давали лампаду и пускали по рядам вместо прежнего монаха. Затем пропели остальные шесть псалмов. Аббат дал благословение, недельщик прочел молитвы, и все стали на колена перед алтарем. Объявили минуту сосредоточения, и кто не пережил, как мы, часы мистического жара, переполняющего миром всю душу, не может представить неизреченную сладость той минуты. Наконец, опустивши снова куколи, все вернулись на места и торжественно грянули «Te Deum»^[66]. И я в великой радости со всеми благодарил Господа за то, что упас меня от колебаний и снял с души тяжесть первого монастырского дня. Мы все нетверды, говорил я себе, и даже в среде столь честных и чистых угодников как эти, дьявол может сеять мелкие обиды и недоброжелательства. Но все это, как дым, уносится могучим порывом веры, когда все сходятся во имя Отца святейшего и благодать Христова почиет на всех.

От полунощницы до утрени монах в келью не возвращается, даже если ночь еще глубока. Послушники отправились, при наставнике, в капитулярный зал учить псалмы. Одни монахи задержались в церкви для ухода за богослужебной утварью, другие – большинство – вышли во двор и прохаживались в молчаливой медитации. Так же и мы с Вильгельмом. Служки покуда спали и продолжали спать даже

тогда, когда мы при темных еще небесах проследовали в церковь к утрене.

Начали псалмами, из коих один, приуроченный к четвергу, звучал так жутко, что я снова погрузился в давешние страхи. Меня испугало, что именно на этот день преуказаны такие суровые слова: «Нечестивый хвалится похотью души своей; в надмении своем пренебрегает Господа; уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком его мучение и пагуба». Трепет беспокойства только усилился, когда после хвалитных псалмов, по уставу, читали Апокалипсис, и в памяти снова возникли фигуры портала, овладевшие накануне и взором моим, и душой. Но вот кончились и респонсорий^[67], и гимн, и стихира, и зазвучала евангельская песнь. Тогда я заметил за окнами хора, в точности над алтарем, беловатое сияние. От него затрепетали краски витражей, прежде безжизненные в полночной тени. Это не заря еще была, к заре приурочен час первый, она занимается в тот момент, когда монахи поют: «Господь се предивное сияние святости» и «Взошло уж созвездие света». То был первый робкий проблеск, предчувствие зимней зари, но его было достаточно, чтобы сердце мое снова просветлело. Было совершенно достаточно той нежной полутьмы, которая в нефях собора заместила собою мрачную ночную мглу.

Мы пели из божественной книги, свидетельствовали о Слове, сошедшем просвещать народы, и я будто зреть мог, как дневное светило всем сиянием и жаром заполняет храм. Свечение, пока еще невиданное, казалось мне – исходило от нашей песни, мистический крин раскрывался мне, благовоннейший, между крестовинами вольт. «Благословен, о Господь, за миг сего невыразимого блаженства!» – немо молился я и спрашивал у сердца: «Чего ты, глупое, страшилось?» Внезапно из-за северного портала послышался шум. Я поразился, до чего нагло здешняя челядь, берясь за работу, мешает богослужению. Но трое свинарей с перепуганными лицами вошли в храм и что-то зашептали Аббату. Тот было сделал жест, чтобы они утихли, вероятно не желая нарушать чин. Но показались другие

слуги, голоса звучали все громче. «Там мертвец, мертвец!» – крикнул кто-то, а в ответ ему: «Мертвый монах! Ты что, не видел башмаки?»

Певчие смолкли. Аббат поспешил вон, махнув келарю, чтоб следовал за ним. Вильгельм двинулся за келарем, а дальше и другие монахи побросали места и ринулись на улицу.

Небо уже светилось, и от снега, укрывавшего землю, равнина казалась светлее. На задворках хора, перед скотным двором, где вчера вечером установили огромную посудину, полную свиной крови, – какой-то странный предмет, по виду крестообразный, высовывался из бочки, как будто два шеста, воткнутые в землю, на которые вешают тряпье, чтоб пугать ворон. Но то были не шесты, а человеческие ноги. Ноги человека, воткнутого вниз головой в бочку с кровью.

Аббат приказал извлечь из мерзкой жижи труп (поскольку, увы, было ясно, что в таком позорном виде живой человек не пребывал бы). Свиноарии нерешительно приступили к краю бочки, ухватились за ноги и, перепачкиваясь кровью, выволокли кровавого мертвеца. Как мне вчера и объяснили, свежая кровь, хорошенько промешанная и сразу выставленная на холод, за сутки не свернулась. Но сейчас, на трупе, она стыла мгновенно, сковывая одежду и облепляя непроницаемой коркой голову. Служка принес ведро воды и плеснул на лицо несчастного. Кто-то другой нагнулся с тряпкой и протер лицо. И нашим взорам открылась белая кожа Венанция Сальвемекского, знатока греческих древностей, с которым вчера днем мы беседовали у стола злополучного Адельма.

«Адельм, может быть, и покончил с собой, – проговорил Вильгельм, взглядываясь в лицо трупа. – Но этот вряд ли. И трудно предположить, что он по ошибке оказался на верху бочки, а потом свалился».

Аббат подошел к Вильгельму. «Брат! Вы видите – в аббатстве что-то происходит. Требуется все ваше умение. Но заклинаю, действуйте быстро!»

«Он был в хоре на службе?» – спросил Вильгельм, кивнув на труп.

«Нет, – ответил Аббат. – Я видел, что его место пусто».

«Кто еще отсутствовал?»

«Никто, по-моему. Я не заметил».

Вильгельм помедлил перед следующим вопросом и задал его шепотом, так, чтоб никто кроме Аббата не слышал: «Беренгар был на месте?»

Аббат посмотрел на него с восхищением и ужасом, всем видом выражая, как он удручен, что и учитель пришел к подозрению, которое возникло было у него самого, однако в силу некоей особой, известной лишь ему причины. И поторопился ответить: «Был. Это точно: его место впереди, справа от меня, почти рядом».

«Разумеется, – сказал Вильгельм, – все это ровно ничего не значит. Думаю, что никто по пути в хор не заходил за апсиду. И, следовательно, труп мог здесь пробыть несколько часов. По меньшей мере с тех пор, как все ушли спать».

«Верно. Первые слуги поднимаются засветло. Поэтому нашли его только сейчас».

Вильгельм наклонился над мертвым, как будто исследовать трупы было ему не внове. Намочив в ведре валяющуюся рядом тряпку, он тщательно отер лицо Венанция. Тем временем монахи в ужасе жались друг к другу, бормоча и причитая, пока Аббат не велел им утихнуть. Сквозь толпу протолкался Северин, который в аббатстве обихаживал усопших, и склонился рядом с моим учителем. Чтобы слышать, что они скажут, и подать Вильгельму еще одну чистую мокрую тряпку, я подошел поближе, подавляя отвращение и страх.

«Ты когда-нибудь видел утопленника?» – спросил Вильгельм.

«Не раз, – ответил Северин. – И догадываюсь, что ты хочешь сказать. У них не такой вид. Лицо должно разбухнуть».

«Итак, его бросили в бочку уже мертвым».

«А зачем?»

«А зачем его убили? Все это работа извращенного сознания. Однако прежде всего определим, есть ли на теле раны или ушибы.

Предлагаю перенести его в мыльню, раздеть, обмыть и осмотреть. Я скоро к тебе приду».

И в то время как Северин, заручившись соизволением Аббата, следил за скотниками, уносившими тело, учитель попросил Аббата увести монахов в хор той тропой, которой пришли, и таким же образом удалить слуг, чтобы на площади никого не осталось. Аббат не задавал вопросов и все исполнил. И вот мы остались у бочки, из которой при нерадостной процедуре извлечения выплеснулось много крови, и снег там был ал, а местами (где разлилась вода) сошел. На месте трупа виднелось большое темное пятно.

«Хорошенькое дело, – молвил Вильгельм, глядя на путаницу следов, оставленных монахами и слугами. – Снег, любезнейший Адсон, – красноречивый пергамент, на коем тела людей – самые ясные прописи. Но вот этот снег, что перед нами, это невычищенный палимпсест^[68]. Тут что-нибудь интересное вряд ли прочтешь. Отсюда и до церкви все затоптано монахами, отсюда до конюшен и хлевов прошелся табун прислуги. Единственный нетронутый участок – от хлевов до Храмины. Посмотрим, может ли там быть что-нибудь интересное».

«А в каком роде?» – спросил я.

«Если он не вскочил сам в бочку, значит, кто-то его туда бросил, предположительно уже мертвого. А тот, кто тащит на себе мертвое тело, должен оставлять в снегу более глубокие следы. Вот и ищи, не попадутся ли тебе такие следы, которые чем-нибудь отличаются от следов этих крикливых монахов, испортивших нам тут весь рисунок».

Мы и взялись. И скажу с самого начала, что не кто иной, как я (Господи не осуди мою суетность!), именно я обнаружил то, что мы искали между бочкой и Храминой. Это была цепочка следов на участке, куда при нас никто не ступал. Следов довольно глубоких и, как тут же подметил учитель, менее четких, нежели следы монахов и прислуги. Это означало, что они сверху запорошены снегом, а следовательно, что они не очень свежие. Но что было самое

примечательное – это глубокая непрерывная рытвина, имевшаяся посередине следов, как будто шедший тащил за собой что-то тяжелое. В общем, весьма красноречивая колея вела к бочке от двери трапезной, от той стены Храмины, которая соединяла южную и восточную башни.

«Трапезная, скрипторий, библиотека, – прошептал Вильгельм. – Библиотека снова. Венанций погиб в Храмине, вероятнее всего в библиотеке».

«Почему именно в библиотеке?»

«Я пытаюсь стать на место убийцы. Если Венанций умирает – его убивают – в трапезной, кухне или скриптории, почему бы его там не оставить? А вот если он испускает дух в библиотеке, его надо обязательно оттуда вынести. Во-первых, потому что там его никогда не найдут (а не исключено, что убийцу это интересует больше всего), во-вторых, потому что убийца, возможно, не хочет привлекать внимание к библиотеке».

«А почему убийце так важно, чтоб его нашли?»

«Не знаю. Все это догадки. Кто сказал, что Венанция убили, потому что хотели убить именно его? Может, его убили вместо любого другого, чтоб оставить знак, чтобы что-то обозначить?».

«В мире всякое творенье – книга и изображение... – пробормотал я. – Обозначить что?»

«Этого-то я и не знаю. Но не будем забывать, что существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишённые смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та...»

«Чудовищно! – вскричал я, – убивать человека, чтобы сказать тра-та-та!»

«Чудовищно, – откликнулся Вильгельм, – убивать человека и чтобы сказать Верую во единого Бога...»

Тут нас нагнал Северин. Труп вымыли и внимательно обследовали. Ни ран, ни черепных повреждений. Убит как колдовством.

«Или как гневом Божиим?» – переспросил Вильгельм.

«Возможно», – ответил Северин.

«Или как ядом?»

Северин замялся: – «Может, и так».

«Ты держишь яды?» – спросил Вильгельм, направляясь к лечебнице.

«Наверное, да. Смотри что понимать под ядами. Многие вещества в скромных дозах врачуют, а в чрезмерных – вызывают смерть. Как всякий знающий травщик, я держу такие зелья, но использую их осмотрительно. Например, я выращиваю валериану. Несколько ее капель в настое прочих трав усмиряет сильное сердцебиение. Излишняя же доза приводит к оцепенению и смерти».

«На трупе нет следов известных тебе ядов?»

«Нет. Но многие яды не оставляют следов».

Мы вошли в лечебницу. Тело Венанция, вымытое в купальне, было уже перенесено на большой стол в лаборатории Северина. Перегонные кубы и другие стеклянные и глиняные приборы смутно напомнили мне рассказы о мастерских алхимиков. На длинных прилавках вдоль наружной стены стояло множество пузырей, плошек, горшков с разноцветными смесями.

«Отличный выбор лекарств, – сказал Вильгельм. – Все из вашего сада?»

«Нет, – ответил Северин. – Тут многие травы редкие, в наших краях не растут. Уже немало лет мне привозят их монахи из самых дальних стран света. Я стараюсь смешивать редкие и ценные зелья с веществами, которые получаю из здешних трав. Вот смотри. Молотый игольник. Произрастает в Китае, подарен арабским ученым. Сокотрийский алоэ из Индии – дивно затягивает язвы. Серебряк оживляет мертвых, вернее сказать – приводит в чувство обмерших. Мышьяк страшно опасен, при принятии внутрь – смертельный яд. Борная соль хорошо лечит легкие. Трава буквица незаменима при ранении головы. Камедь – смола мастикового дерева – останавливает кровохарканье и истечение мокроты. Мирра...»

«Которая у волхвов?» – спросил я.

«Которая у волхвов. Но она прекрасно предупреждает выкидыши. Еще зовется смирной и получается от дерева, именуемого *balsamodendron myrra*. А это мумие, продукт разложения мумифицированных трупов. Служит для изготовления множества почти чудотворных препаратов. *Mandragola officinalis*, способствующая сну...»

«И плотским утехам», – дополнил мой учитель.

«Говорят, что так, но у нас, как вы догадываетесь, в подобных целях не употребляется, – улыбнулся Северин. – А взгляните на это. – Он взялся за склянку: – Кадмий. Незаменим для глаз».

«А это что?» – вдруг оживился Вильгельм, заметив на полке какой-то камень.

«Это? Мне его когда-то подарили. Думаю, это и есть *lopris ematiti*, он же ляпис-гематит. Надо полагать, обладает целебными свойствами. Но какими, я еще не разобрал. Ты его знаешь?»

«Да, – сказал Вильгельм. – Но не с лечебной стороны».

Он вынул из рясы ножик и поднес к камню. Когда ножик, лежавший на неподвижной ладони, оказался вблизи камня, он резко дернулся, как будто Вильгельм двинул запястьем – но он не двигал, а нож взлетел и приклеился к камню, издав легкий металлический щелчок.

«Видишь, – сказал Вильгельм. – Это магнит».

«А на что он?» – спросил я.

«Годится на многое. Я расскажу. Но сейчас, Северин, мне хотелось бы знать, есть ли тут что-нибудь для убийства людей».

Северин думал с минуту. На мой взгляд, слишком долго для такого простого и ясного ответа, какой впоследствии последовал. «Есть, и многое. Я же сказал, что граница между лекарством и ядом почти незаметна, греки и то, и другое называли *pharmakon*».

«А в последнее время отсюда ничего не исчезало?»

Северин опять задумался, потом сказал, взвешивая каждое слово: «Ничего. В последнее время».

«А прежде?»

«Не знаю. Не помню. Я в этом аббатстве тридцать лет, из них двадцать пять при травах».

«Многовато для простой человеческой памяти, – согласился Вильгельм. Затем внезапно: – Мы вчера говорили о дурманящих травах. Это которые?»

Северин и жестами, и мимикой выразил горячее желание избежать этой темы. «Надо подумать. Знаешь, у меня тут столько сильных снадобий... Давай лучше о Венанции. Что ты предполагаешь?»

«Надо подумать», – ответил Вильгельм.

**Второго дня
Час первый,
где Бенций Упсальский кое-что рассказывает,
еще кое-что рассказывает Беренгар
Арундельский, и Адсон узнает, каково подлинное
раскаяние**

Несчастье перевернуло весь распорядок общины. Из-за находки трупа и всеобщей суматохи литургию так и не дослужили. Аббат немедленно отослал монахов обратно в хор молиться за душу убиенного собрата.

Голоса монахов пресекались. Удобная возможность видеть их лица открылась, когда на службе они опустили куколи. Нас тут же привлекло лицо Беренгара. Белое, напряженное, лоснящееся от пота. Накануне нам дважды намекали на его особые отношения с Адельмом, и тревожило нас не сообщение, что молодые люди, ровесники, дружили, а двусмысленный тон всех, кто упоминают об их дружбе.

Рядом с Беренгаром молился Малахия: мрачный, насупленный, непроницаемый. Рядом с Малахией выделялось столь же непроницаемое лицо слепого Хорхе. Напротив того, отличался нервностью весь вид Бенция Упсальского, ученого-риторика, виденного нами вчера в скриптории, и мы перехватили пронзительные взгляды, которые он время от времени бросал на Малахию. «Бенций взволнован, Беренгар напуган, – подытожил Вильгельм. – Допрашивать надо немедленно».

«Почему?» – наивно удивился я.

«Наша работа этим и неприятна, – ответил Вильгельм. – Неприятная работа – следовательно. Бить приходится по самым слабым и в момент их наибольшей слабости».

В общем, сразу же по окончании службы мы нагнали Бенция, шедшего в библиотеку. Услышав, что Вильгельм его окликает, юноша попытался увернуться от беседы, сославшись на недоделанное задание. Он почти бежал от нас по направлению скриптория, но учитель напомнил, что уполномочен Аббатом вести в монастыре следствие, и Бенцию пришлось пройти с нами в церковный двор. Мы сели на балюстраде между двумя колоннами. Бенций выжидал, пока Вильгельм заговорит, и поглядывал на Храмину.

«Ну, – сказал Вильгельм. – Что же было сказано в тот день, когда вы обсуждали миниатюры Адельма – ты, Беренгар, Венанций, Малахия и Хорхе?»

«Вы ведь вчера все слышали. Хорхе заявил, что неуместно уснащать стихотворными рисунками книги, содержащие истины. А Венанций сказал, что даже у Аристотеля говорится о шутках и словесных играх, как о средствах наилучшего познания истин и что, следовательно, смех не может быть дурным делом, если способствует откровению истин. А Хорхе возразил, что, насколько он помнит, Аристотель пишет об этом предмете в своей книге о Поэтике применительно лишь к метафорам. И что притом имеется два настораживающих обстоятельства. Первое – что книга о Поэтике, остававшаяся – видимо, велением Божиим – столько столетий неведомой христианскому миру, дошла к нам через руки неверных мавров...»

«Но ведь она переведена на латынь одним из друзей ангелического доктора Аквинского», – перебил Вильгельм.

«Вот и я сказал это самое, – ответил Бенций, мгновенно воспряв духом. – Я плохо разбираю по-гречески и смог ознакомиться с данной книгой именно в переводе Вильгельма Мербекского. Это-то я и сказал. Но Хорхе ответил, что есть второе сомнительное обстоятельство: что Стагирит^[69] судит только о поэзии, которая ничтожное искусство, питающееся брэнностями. А Венанций сказал, что и псалмы плоды поэзии, и в них использованы метафоры. И тут Хорхе взъярился и сказал, что псалмы рождены божественным

вдохновением, и метафоры в них заключают истину, тогда как языческие поэты используют метафоры, чтобы распространять ложь, и заботясь лишь о наслаждении. И тогда я очень огорчился...»

«Отчего?»

«Оттого что я изучаю риторику, читаю язычников и знаю... по крайней мере верю, что чрез их поэзию до нас дошли и многие истины naturaliter^[70] христианские. В общем, как раз тогда, если верно помню, Венанций заговорил о других книгах, и Хорхе разгневался еще сильнее».

«О каких книгах?»

Бенций поколебался и ответил: «Не помню. Какая разница».

«Разница большая. Мы пытаемся понять, что происходит у людей, живущих среди книг, в книгах, ради книг, и, следовательно, все, что они говорят о книгах, очень важно...»

«Это верно, – подтвердил Бенций, впервые улыбнувшись и чуть ли не просияв. – Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире. Так вот... может, вы и поймете, что случилось в тот день... Венанций, который прекрасно знает... который прекрасно знал греческий, сказал, что Аристотель нарочно посвятил смеху книгу – вторую книгу своей Поэтики, и что, если философ столь величайший отводит смеху целую книгу, смех, должно быть, – серьезная вещь. Хорхе сказал, что святые отцы часто посвящали целые книги грехам, и что грехи тоже серьезная вещь, но и дурная, а Венанций сказал, что, насколько ему известно, Аристотель говорит о смехе, как о хорошей вещи и проводнике истины, а тогда Хорхе спросил с издевкой, не читал ли он случайно эту книгу Аристотеля. А Венанций ответил, что ее никому не случалось читать, потому что никто ее не видел, так как она, очевидно, не дошла до наших дней. И он прав, никто и никогда не видел второй книги Поэтики Аристотеля. Вильгельм Мербекский и тот не держал ее в руках. А Хорхе сказал, что если она до сих пор не нашлась, значит, она и не была написана, ибо провидению неугодно, чтобы прославлялись вздорные вещи. Я хотел всех успокоить, зная,

что Хорхе вспыльчив, а Венанций как бы намеренно его злил. И сказал, что и в известной нам части Поэтики, и в Риторике есть много мудрых наблюдений об остроумных загадках. Венанций со мной согласился. Там с нами был Пацифик из Тиволи, хорошо знающий поэзию язычников, и он сказал, что в смешных загадках никто не сравнится с африканскими поэтами. И прочел загадку о рыбе, сочинение Симфосия:

Есть на земле обитель, немолчным полная шумом,
Шумом полна обитель, но вечно молчит обитатель.
В вечном движенье обитель и в ней, но не с ней обитатель^[71].

Тогда Хорхе заявил, что Иисусом положено говорить либо да, либо нет, а прочее от лукавого. И что следует называть рыбку рыбкой, не затуманивая понятия блудливыми словесами. И прибавил, что на его взгляд негоже брать за образец африканцев... и вот тогда...»

«Тогда что?»

«Тогда началось что-то непонятное. Беренгар захохотал, Хорхе сделал ему замечание, а тот ответил, что смеется потому, что знает: если поискать у африканцев, можно найти и другие загадки, потруднее той – с рыбкой. Малахия, бывший тут же, пришел в бешенство, схватил Беренгара чуть ли не за куколь и вытолкал заниматься своими делами... Беренгар, как вам известно, его помощник...»

«А потом?»

«Потом Хорхе прекратил дискуссию, покинув общество. Все разошлись по местам, но я, сидя за работой, видел, как сперва Венанций, а за ним Адельм подходили к Беренгару и что-то выправшивали. Я видел издалека, как он отрицал, увертывался, но они в течение дня подходили к нему еще не раз. А вечером я

заметил, что Беренгар и Адельм сговариваются в церковном дворе, перед тем как идти в трапезную. Вот. Больше я ничего не знаю».

«Значит, ты свидетельствуешь, что два человека, недавно погибшие при невыясненных обстоятельствах, что-то выпытывали у Беренгара», – заключил Вильгельм.

Бенций вяло запротестовал: «Этого я не говорил. Я просто рассказал, что случилось в тот день. Отвечал на ваши вопросы. – Он помолчал, а потом неожиданно добавил: – Но если хотите знать мое мнение – Беренгар рассказывал о чем-то находящемся в библиотеке. Там и ищите».

«Почему ты так думаешь? И что имел в виду Беренгар, говоря „поискать у африканцев“? Может, он хотел сказать, что надо лучше знать африканских поэтов?»

«Допустим. Но тогда с чего бы Малахия так взъелся? В конце концов от него зависит, выдавать книги африканских поэтов или нет. Но я знаю еще вот что. Полистайте каталог. Среди тайных, понятных лишь библиотекарю обозначений найдете визу „Африка“. А я отыскал даже визу „предел Африки“. Однажды я спросил книгу с этой визой, не помню какую – меня заинтересовало название, – и Малахия заявил, что книги с этой визой все утеряны. Но я запомнил. Потому и говорю: все верно, следите за Беренгаром, попробуйте проследить, что он делает в библиотеке. Как знать...»

«Как знать», – согласился Вильгельм, жестом отпуская Бенция. Потом мы двинулись медленным шагом в обход двора, и учитель подвел итоги. Прежде всего: в очередной раз мишень пересудов и подозрений – Беренгар. Затем: Бенций всячески подталкивает нас к библиотеке. Я предположил, что, возможно, он хочет с нашей помощью что-то выведать сам, а Вильгельм ответил: может, это и так, однако не менее вероятно, что Бенций, направляя нас в библиотеку, отвлекает от другого места. От какого, спросил я. Вильгельм ответил, что неизвестно: может, от кухни, может, от хора, может, от почивален или от лечебницы... Я возразил, что накануне он сам, Вильгельм, крайне заинтересовался библиотекой. Он ответил, что желает

интересоваться тем, что его интересует, а не тем, что ему подсказывают. Но библиотека безусловно остается в поле внимания, и с этой точки зрения невредно бы попробовать туда забраться. Обстоятельства поворачиваются так, что приходится позволить любопытству вывести нас за границы обходительности и уважения к обычаям и законам принявшего нас места.

Мы оставили за собою церковный двор. Монахи выходили из хора после мессы. Обогнув западную стену церкви, мы увидели Беренгара, выскользнувшего из поперечного нефа и спешившего через кладбище к Храмину. Вильгельм позвал, тот остановился, и мы его нагнали. Он волновался еще сильнее, чем в церкви, и Вильгельм несомненно решил захватить его врасплох – как прежде Бенция.

«Выходит, ты последний, кто видел Адельма в живых», – обратился он к Беренгару.

Беренгар качнулся, как будто теряя сознание. «Я?» – переспросил он еле слышно. Своим вопросом Вильгельм, я думаю, просто прощупывал почву, наверное, вспомнив рассказ Бенция о том, как эти двое сговаривались в церковном дворе после вечерни. Но, судя по всему, он нечаянно попал в точку, и Беренгар сейчас думал о каком-то другом, действительно последнем свидании, – его выдавал голос.

«Какое у вас право так говорить, я видел его перед сном, как и все остальные!»

Но Вильгельм явно решил не давать ему передышки. «Неправда, вы виделись еще раз, и ты знаешь больше, чем пытаешься показать. Но сейчас речь идет уже о двух убийствах! И тебе не удастся отмолчаться! Ты прекрасно знаешь, что есть много способов развязывать языки!»

Вильгельм неоднократно говорил мне, что еще в инквизиторах отказался от применения пыток. Но, того не зная, Беренгар неверно понял. А может, Вильгельм и хотел быть неверно понятым. В любом случае он рассчитал точно.

«Да, да, – с трудом выговорил Беренгар и затрясся в безудержном плаче. – Да, в тот вечер я видел Адельма, но уже мертвого!»

«Где, – спросил Вильгельм, – под откосом?»

«Нет, нет, здесь, наверху, на кладбище. Он двигался между могил, призрак среди призраков, червь среди червей... Он подошел... я сразу увидел, что передо мной не живой человек, у него было лицо мертвеца, очам уже открывались вечные муки... Конечно, я только на следующее утро понял, что говорил с загробной тенью... когда узнал о его гибели... но и накануне сознавал, что передо мною видение, дух проклятья, некий лемур... О Боже всемогущий, что за трубный глас исторгся из его уст!»

«И что он сказал?»

«„Я проклят!“ – так он сказал мне. – „Кого ты видишь пред собою, се исчадие ада и в ад обязано воротиться“, – так он сказал мне. А я закричал: „Адельм, ты вправду идешь из ада? Каковы они, вечные муки?“ И я весь трясся, потому что перед тем на повечерии слышал, как читались ужасающие страницы о наказании Божиим. А он мне: „Адские мучения невыразимо горше, нежели способен описать язык. Видишь мантию познаний, коей я был укрыт всегда до сего дня? Она тяготит, она давит меня, будто огромнейшая из парижских башен, будто огромнейшая в мире гора у меня на плечах и мне не суждено вовек сбросить этот груз. Это на меня налагается кара от божественного правосудия за тщету и гордыню мои, за то, что превращал тела мои в прибежище наслаждений, и считал, что знаю больше других, и упивался чудовищностями, создаваемыми в воображении моем, не ведая, сколь мерзейшие чудовища рождаются от этого в моей душе, а ныне с ними я обречен пребывать вечные времена. Видишь? Эта проклятая мантия жжет, как угли, как огонь пылающий, и язвительный сей огонь пылает на телах моих, это кара на меня наложена за богомерзкий плотский грех, в коем я повинен, и этот огонь безотлучно терзает и жжет меня! Коснись меня рукой, любезный мой наставник, – так сказал он мне, – дабы эта встреча послужила тебе в должное назидание, в оплату за назидания и

наставления, полученные от тебя, коснись же меня, о милый наставник“, – и он тронул меня своим огненным перстом, и мне на руку пала капля пылающего пота и прожгла мне руку чуть не до кости, так что много дней затем я укрывал язву от сотоварищей. И он ускользнул и скрылся за могилами, а на следующее утро я узнал, что тело того, с кем говорил я в ночь на кладбище, в означенный час уже валялось под скалою...»

Беренгар задыхался и плакал. Вильгельм спрашивал дальше: «А почему он звал тебя милым наставником? Вы ведь сверстники. Ты что-то ему преподавал?»

Беренгар судорожно скрючится, зарывая лицо в куколь, пал на колени, вцепился в ноги Вильгельма: «Не знаю, не знаю, отчего он так меня называл, я ничему его не учил! – Он не мог говорить от рыданий. – Я боюсь, отче, я умоляю – исповедайте меня, смилуйтесь надо мною, нечистый терзает мне внутренности!»

Вильгельм отстранился и протянул руку поднять его. «Нет, Беренгар, – сказал он. – Не проси меня об исповеди, не запечатывай мои уста, отверзая собственные. Все, что мне от тебя нужно, ты расскажешь и так. А если не расскажешь, я сам дознаюсь. Можешь молить меня о милости, но о молчании не моли. Слишком многие в этом аббатстве только и делают что молчат. Ответь-ка лучше, как ты мог видеть его бледность, если была глухая ночь, как ты обжег руку, если шел дождь, снег и град, и что ты делал на кладбище? Ну же! – И он резко тряхнул того за плечи. – Скажи хоть это!»

Все члены Беренгара била дрожь. «Не знаю, что я делал на кладбище, не помню. Не знаю, как я мог видеть его лицо... Наверное, у меня был фонарь... Нет, фонарь был у него, был какой-то светильник... Но я точно видел его лицо... оно было освещено...»

«Какой еще светильник в дождь и снег?»

«Это было после повечерия, сразу после повечерия, снег еще не шел, он начался позже... Я помню, что метель начиналась, когда я бежал с кладбища. Я бежал к спальням, а призрак уходил в

обратную сторону... И больше я ничего не знаю, умоляю, не допрашивайте меня больше, если отказываетесь исповедать!»

«Ладно, – сказал Вильгельм, – теперь ступай, ступай в хор, говори с Господом, раз с людьми говорить не желаешь, или поди поищи монаха, который согласится тебя исповедать, ибо если ты до сих пор не покаялся в своих деяниях и тем не менее приближаешься к таинствам – ты святотатец. Торопись! Мы тебя найдем».

Беренгар бросился прочь. А Вильгельм потер руки, как он любил делать, когда бывал удовлетворен.

«Прекрасно, – сказал он. – Теперь многое прояснилось».

«Что прояснилось, учитель, – недоумевал я, – когда добавился еще и призрак Адельма!»

«Дорогой Адсон, – внушительно произнес Вильгельм, – призрак сей, на мой взгляд, не такой уж призрак, и в любом случае он повторял текст из какого-то, не помню какого, сборника проповедей. Все эти монахи слишком много читают и в состоянии возбуждения склонны видеть воочию то, что вычитали в книжках. Неизвестно, говорил ли Адельм в действительности подобные слова или Беренгар услышал их потому, что был готов услышать. Но в любом случае эта история подтверждает ряд моих предположений. К примеру, что Адельм покончил с собой. Вот и Беренгар свидетельствует, что перед смертью Адельм в неменяемости метался по аббатству, угрызаясь из-за каких-то ранее совершенных поступков. Он был напуган, то есть, вероятнее всего, кто-то его напугал и, видимо, развернул перед его духовным взором все те картины адских мук, которые он с болезненным диким вдохновением воспроизвел потом Беренгару. На кладбище он оказался потому, что шел из хора, где доверился (или исповедался) кому-то в своих грехах. А тот в ответ вверх его в бездну ужаса и запоздалого раскаяния. И с кладбища он двинулся дальше. По показаниям Беренгара – в сторону, противоположную спальному корпусу, то есть в направлении Храмины. А также – что всего правдоподобнее – в направлении того уступа стены за скотным

двором, откуда он, по моим вычислениям, и бросился в пропасть. Бросился он до начала бури, у подножия стены разбился насмерть, а потом оползень протащил его тело дальше, под восточную и северную башни».

«А капля огненного пота?»

«Огненный пот входил в ту повесть, которую Адельм выслушал и повторил. А может, Беренгар, сам во власти угрызения и ужаса, добавил этот пот от себя. Ибо, как ты понимаешь, угрызения Адельма явно перекликаются с угрызениями Беренгара. Адельм шел из хора, и у него, естественно, была свеча, и воск капнул на руку его друга – всего лишь капля воска... Но Беренгар ощутил ожог намного страшнейший, когда Адельм назвал его, совершенно справедливо, милым наставником. Так Адельм упрекал его за некую науку, в коей теперь смертно раскаивался. И Беренгар затрепетал, и трепещет доныне, ибо прекрасно знает, что это именно он толкнул Адельма к гибели, обучив непозволительным вещам. И нетрудно догадаться каким, бедненький мой Адсон, после всего, чего мы наслушались о нашем помощнике библиотекаря».

«Полагаю, я догадался, что произошло между ними, – перебил я, стыдясь своей осведомленности. – Но не веруем ли все мы в милосердие Господне? Адельм, по вашим словам, перед тем исповедался. Отчего же он замыслил искупить свой первый грех грехом еще более тяжким или, по крайней мере, столь же тяжким?»

«Он услышал от кого-то неумолимый приговор. Я ведь уже сказал, что источник образов, которыми кто-то до смерти напугал Адельма, а Адельм до полусмерти напугал Беренгара, – страница из современного сборника проповедей. В последние годы как никогда прежде проповедники, желая добиться святопочитания и страха Божия (а также прилежания, а также почтения к законам божеским и человеческим), осыпают прихожан жестокими, устрашающими и мрачными словесами. Сейчас как никогда громко, над вереницами кающихся и самобичевателей, звучат восторженные хвалитны мучениям Христовым и святой девы Марии, и сейчас как никогда

стараятся священнослужители укрепить в мирянах веру посулами адовых мук».

«Это потребность в покаянии», – сказал я.

«Адсон, я никогда не слышал столько призывов к покаянию, сколько сейчас, во времена, когда ни проповедники, ни епископы, ни даже мои собратья спиритуалы не способны уже к настоящему покаянию».

«Но третья эра, ангельский папа, Перуджийский капитул...» – растерянно пробормотал я.

«Все в прошлом. Великая покаянная эпоха кончилась, поэтому о покаянии стало можно говорить даже в генеральном капитуле ордена. Тяга к обновлению действительно существовала – сто или двести лет назад. Она существовала тогда, когда всякого, кто стремился к обновлению, отправляли на костер, не разбираясь, святой он или еретик. А сейчас о покаянии толкуют все. В некотором смысле – даже папа. Не доверяй словам об обновлении, когда они идут от курии и от двора».

«А брат Дольчин...» – храбро начал я, надеясь услышать что-нибудь новое об этом загадочном человеке, чье имя столько раз произносилось накануне.

«Дольчин умер, и так же скверно, как жил, потому что и он появился слишком поздно. А потом – что ты о нем знаешь?»

«Ничего, вот поэтому я и спрашиваю...»

«Оставим эту тему. И сейчас, и в будущем. Я имел дела с так называемыми апостолами, некоторых видел довольно близко. Печальная картина. Ты бы сильно огорчился. Я, по крайней мере, в свое время огорчился очень сильно. Но огорчительнее всего тебе было бы увидеть, что я, твой наставник, не могу определить, кто в этой истории прав, кто виноват. Это история о том, как человек творил гнусности именно из-за того, что старался следовать проповедям святых... В какой-то момент я перестал понимать. На меня как будто нашло помрачение. Я увидел, что одним и тем же духом веет в обоих враждебных лагерях – и от святых,

проповедовавших покаяние, и от грешников, проводивших эту проповедь в жизнь... чаще всего за чужой счет. Но мы говорили о другом. Или нет, наверно, о том самом. Поскольку эпоха покаяния позади, ныне тяга к покаянию превратилась в тягу к смерти. И те, кто убивал обезумевших каяльщиков, возвращая смерть смерти и пытаясь убить истинное покаяние, смертью чреватое, – эти люди подменили покаяние души покаянием воображения, вызывали в воображении видения адовых мук, адовой крови, и звали эти видения „зерцалом истинного покаяния“. Так они вводили в воображение простецов – а сейчас вводят в воображение людей ученых – картины того света, видения загробных терзаний. Все как будто для того, чтоб никто не грешил. Предполагается, что можно удержать душу от греха при помощи страха и что страх сильнее тяги к протесту».

«Но от этого действительно перестают грешить?» – спросил я с безумной надеждой.

«Смотря что ты понимаешь под грехом, Адсон, – отвечал на это учитель. – Мне не хотелось бы выглядеть несправедливым к людям здешних мест, где я живу последние годы, но все же, на мой взгляд, отсутствие врожденного достоинства у итальянцев сказывается ярче всего в том, что удержать их от греха может только вид какого-нибудь идола, обычно носящего имя святого. Они сильнее боятся Св. Себастиана и Св. Антония, чем Христа. Когда требуется, чтоб на некое место перестали мочиться все кому не лень, как это заведено у итальянцев, – а они в этом смысле мало отличаются от кобелей, – там малюют Св. Антония с деревянной палкой, и это зрелище усмиряет любого, кто было пристроился помочиться. Боюсь, что таким манером итальянцы по милости их проповедников дойдут и до вторичного язычества... Они уже сейчас перестали верить в грядущее воскресение плоти...»

«Но Беренгар не итальянец», – заметил я.

«Неважно, я говорю об атмосфере, которую церковь и проповеднические ордена создали на этом полуострове и которая

отсюда распространяется повсеместно. И захватывает даже почтенные сообщества вполне образованных монахов, – как, скажем, это».

«Ну, это для того, чтоб спасти мир от греха», – сказал я, пытаюсь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору.

«Если бы данное аббатство могло считаться зеркалом мира – ты бы сам себе ответил».

«А оно не может считаться?»

«Чтоб существовало зеркало мира, мир должен иметь форму», – ответил Вильгельм. Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания.

**Второго дня
Час третий,
где невежи бранятся, Имарос Александрийский
кое о чем намекает, и Адсон задумывается о
природе святости и дьяволовом дерьме. Затем
Вильгельм и Адсон поднимаются в скрипторий,
Вильгельм находит нечто любопытное, в
третий раз дискутирует о позволительности
смеха, но в конце концов не успевает
рассмотреть что нужно**

По пути в скрипторий мы завернули на кухню подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь; в нем пеклись новые хлебы. Два козопаса разделявали тушку свежезарезанной овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я увидел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал козопасам, а те, ухмыляясь, прятали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: «Келарь, келарь! Разве так поступают? Келарь копит аббатское добро, а не раздает кому попало».

«Сии Боговы сыны, – ответил Сальватор. – Иисус рек, все будет ему, что дашь сирому».

«Ах ты полубрат загаженный, миноритская сволочь! – заорал в ответ повар. – Ты здесь не у своих вшивых братишек! С благотворительностью наш Аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок!»

Сальватор переменялся в лице и злобно уставился на повара: «Не полубрат, не минорит! Инок Бенедикта Святого я! А ты навоз сам еси и грязный богомил!»

«Кто, я богомил? Богомилка твоя блудня, с которой ты гужуешься тут по ночам, скотина, полудурок!» – взвыл повар.

Сальватор поспешно выпроводил козопасов, закрыл дверь и подошел к нам. «Брате, – сказал он Вильгельму, – оборони свой орден. Не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках! – Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо: – Тьфу, врет!» – и плюнул на пол.

Повар подскочил к нему, вытолкнул в зашей из кухни и громко хлопнул вслед дверь. «Брат, – обратился он к Вильгельму самым почтительным образом, – не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенедиктинце – сам не знает, кто он».

«Его прошлое известно, – мягко ответил Вильгельм, – но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должно относиться по-братски».

«Да ведь суется, куда не просят, – знает, что келарь его покрывает. Уже и сам себя считает келарем. Гуляет тут по-хозяйски днем и ночью».

«Как – ночью?» – переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко.

Любопытство мое разгоралось все сильнее. Беседа с Убертином; толки о прошлом Сальватора и отца келаря; постоянные упоминания, в устах самых различных людей, о полубратях и отступниках-миноритах; отказ учителя объяснить мне, кто был таинственный брат Дольчин... Вереница смутных воспоминаний заплясала, зароилась в моей голове. Во время наших странствий не менее двух раз мы сталкивались с процессией флагеллантов^[5]. В первый раз население смотрело на них как на святых, во второй раз местные шептали, что это богомерзские еретики. Однако речь шла

об одних и тех же людях. Попарными колоннами они двигались по улицам города, прикрытые лишь по чреслам – очевидно, они победили в себе всякое чувство стыда. Каждый имел в руке бич сыромятной кожи и равномерными движениями ударял себя по плечам, раздирая их в кровь, и у всех ручьями катились слезы, как будто воочию каждый наблюдал страсти Спасителя, и с душераздирающим плачем обращался к милосердию Господню и к призрению Святейшей Девы Матери Божьей. Не только днем, но и ночами, с пылающими огарками, нагие в любую непогоду, многочисленными толпами обходили они церкви, самоотреченно простираясь перед алтарями, предведомые епископами со свечами и со стягами. И не только простые люди из низов, но и благородные матроны, купцы... Я понимал, что передо мною величайшие подвижники покаяния: неправо стяжавшие – возвращали добычу, все остальные – каялись в грехах...

Но Вильгельм взглянул на них довольно холодно и сказал, что это не настоящее покаяние. И пояснил примерно в тех же словах, как сегодня утром: эпоха высокого покаяния и очищения уже закончена, а то, что мы видим, связано со стараниями самих проповедников поместить в какие-то рамки страсти толпы, чтобы толпа не впала бы в новую крайность, в ту покаянную одержимость, которая, по мнению проповедников, являлась ересью и нагоняла на них боязнь. Однако разницу между тем покаянием и этим, если она и существовала, я уловить не сумел. По моему понятию, разница вообще определялась не действиями тех или этих, а тем, с какой точки зрения их действия рассматривала пресвятая церковь.

Снова и снова возвращался я к спору с Убертином. Вильгельм явно кривил душой, а когда убеждал его, что почти не существует различия между его собственной, хотя и мистической, но правой верой и преступной верою еретиков. Понятно, что Убертин оскорбился; на его месте оскорбился бы всякий, кому хорошо видна разница. И я пришел к выводу, что он отличается от еретиков именно своим умением видеть различия. А Вильгельм, очевидно,

оставил обязанности инквизитора именно из-за того, что он эти различия видеть разучился. Именно поэтому он не сумел рассказать мне о таинственном брате Дольчине. Но если так, говорил я сам с собою, значит, Вильгельм обойден милостью и провидением Господним, ибо сказанное провидение не только научает понимать различия доброго и злого, но и, можно сказать, дарует своим избранникам умение судить. Убертин и Монтефалькская Клара (хотя она и обращалась в гущу грешников) сохранили свою святость именно потому, что сохранили способность судить. В этой способности, и именно в ней, состоит святость.

Но почему же Вильгельма Господь лишил этой способности? Ведь у него была острейшая пронизательность, и во всем, что касается природных явлений, он умел подмечать легчайшие несходства и самое неуловимое сродство вещей...

Я совершенно погрузился в эти мысли, а Вильгельм спокойно допивал свое молоко, когда вошел еще один монах. Он поздоровался: это был Имарос Александрийский, с которым мы виделись вчера в скриптории, и я уже тогда заметил постоянную гримасу у него на лице. Он как будто не мог надивиться нелепости рода людского, не слишком, впрочем, огорчаясь из-за этой воистину космической катастрофы.

«Ну что, брат Вильгельм, обживаетесь в нашем сумасшедшем доме?»

«Я полагал, что нахожусь в обители людей непревзойденных и добродетелью и ученостью», – невозмутимо ответил Вильгельм.

«Так было. И аббаты были аббатами, и библиотекари библиотекарями. А сейчас... Да вы ведь сами видели, – он ткнул пальцем в верхний этаж. – Немец-полумертвец с очами слепца истово слушает этого испанца-слепца с очами мертвеца. Антихриста, похоже, ждут с минуты на минуту. Старые пергаменты соскребают, да новые отчего-то не появляются. Мы тут сидим, а настоящая жизнь внизу, в городах. Когда-то из наших монастырей управляли миром. А сейчас, видите ли, императору удобно устраивать тут встречи его

друзей с его недругами. Вот, как можете убедиться, кое-что о вашей миссии нам известно, монахи вечно болтают, другого дела у них нет... Но чтобы реально владеть положением в стране, а сам он – император – аббатством не интересуется, он занимает города. Мы тут мелем зерно, откармливаем птицу. А в городах меняют локти шелка на штуки льна, штуки льна на тюки специй и все вместе – на хорошие деньги. Мы сторожим свою сокровищницу, а настоящие сокровища там у них. И книги. Лучшие книги, чем у нас».

«Конечно, мир непрерывно обновляется. Но чем виноват Настоятель?»

«Он виноват. Он отдал библиотеку на откуп иностранцам, а остальное аббатство превратил в укрепление для обороны библиотеки. Братство Св. Бенедикта на этих итальянских высотах должно бы стать оплотом всего итальянского, где бы сами итальянцы решали судьбы своей страны. А вместо этого... чем живут итальянские города сейчас, когда они лишились даже папы? Торгуют, процветают, богатеют. Они богаче французского короля. Значит, надо и нам взять с них пример. Что мы умеем делать? Книги? Надо заняться книгами и обеспечить ими университеты всего мира. И поинтересоваться, что происходит там в долинах... Я не императора имею в виду, брат Вильгельм, при всем уважении к вашему посольству. А поинтересоваться, чем заняты болонцы и флорентицы. Отсюда мы сможем руководить перемещениями паломников и торговыми перевозками из Италии в Прованс и из Прованса в Италию. Библиотека должна заняться литературой на народном языке, обратить внимание на не-латинские новые книги... А вместо этого нами самими помыкает кучка иностранцев, которые заправляют библиотекой по старинке, как будто в Кюни все еще аббатствует добрый Одийон...»

«Но Аббат-то итальянец», – заметил Вильгельм.

«Аббат – не фигура, – с привычной ухмылкой отозвался Имарос. – У него вместо головы книжная полка. Изгрызенная жучком. Чтоб насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев... Это я об

отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден... А чтоб угодить императору, зазывает сюда монахов из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных переписчиков и знатоков греческого и арабского и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущества их отцам. Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном – что эти немцы вовсю... о Господи милостивый, упаси мой язык, да не отсохнет рассказывать об их непотребствах!»

«А что, в аббатстве случаются непотребства?» – рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока.

«Монах тоже мужчина, – изрек Имарос. Помолчал и добавил: – Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами... Само собой, я ничего не говорил...»

«Очень любопытно, – сказал Вильгельм. – А это только ваше мнение, или другие тоже так думают?»

«Многие, многие думают, как я. Многим жалко беденького Адельма. Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще... из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем следует... многие бы не возражали...»

«Что вы хотите сказать?»

«Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой – соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, – один кубок подслащенного вина, и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать на счет Аббата... или других собратьев... Боже меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной склонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что

Аббат поручил вам расследовать мое дело... или чье-нибудь еще... к примеру, Пацифика Тиволийского или Петра Сант'Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем. Хотя не прочь бы иметь. Кое в чем разобраться. Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо – именно вам, сжегшему столько еретиков».

«Я никогда никого не сжигал», – сухо ответил Вильгельм.

«Да это так, к слову, – с улыбкой увернулся Имарос. – Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной».

«Почему не дневной?»

«Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет. Кое-кому нежелательно, чтоб монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать. И этот кто-то зовет на помощь адовыи силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым. Все, чтобы помрачить разум тех, кто слишком любопытен...»

«Вы говорите об отце травщике?»

«Северин Сант'Эммеранский искусен в своем деле... Но все же он немец... Немец также и Малахия...» – И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, Имарос проследовал заниматься.

«Что это он имеет в виду?» – спросил я.

«Все. И ничего определенного. Большинство монастырей – это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке, хотя, наверное, ты, как послушник, не так уж много успел разобрать. Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое, император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь нет даже папского. Есть города, и ты это обязательно заметишь».

«Я уже заметил и поразился. Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания. Это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они... Как некие царства...»

«А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране. Или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку: деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот: товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег; те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства; всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизиторам чужда злободневность дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о вонючем дьяволовом дерьме. Теперь тебе понятно, к чему клонит Имарос. Бенедиктинское аббатство в золотые времена ордена являло собой возвышенное место, оттуда пастыри надзирали за стадами верующих. Имарос хочет вернуть старое. Однако теперь жизнь стад переменилась и аббатство может вернуть старое (старую славу, старое свое имущество) только если сумеет усвоить новые привычки стада и сумеет само перемениться. А поелику ныне стадами правят не кровавые мечи и не таинственные заклинания, а всемогущие деньги, Имаросу желательно, чтобы все мастерские и службы монастыря, включая и библиотеку, работали бы промышленно и приносили бы доход».

«А как это связано с убийствами... или с убийством?»

«Еще не знаю. Теперь мне надо наверх. Идем со мной».

Монахи уже работали. Во всем скриптории царила тишина – но не та тишина, которая сопутствует трудовой умиротворенности души. Недавно вошедший Беренгар впился в нас глазами. Прочие монахи тоже подняли головы. Всем было известно, что мы здесь ищем разгадку тайны Венанция, и взгляды всех присутствующих непроизвольно сходились в одной точке, подсказывая нужное направление; мы взглянули туда же и увидели перед собой пустой стол под одним из высоких окон, выходящих во внутренность восьмиугольного колодца.

Несмотря на холодный ноябрьский день, температура воздуха в скриптории была не слишком низка. Надо думать, не случайно это помещение устроили прямо над поварнями, откуда подымался довольно теплый воздух и откуда вдобавок шли, пронизывая всю постройку, два дымохода от двух кухонных печей, пропущенные в середине каменных столпов, на которых держались винтовые лестницы – одна в западной, другая – в южной башне. Что же касается северной башни, чья внутренность открывалась на противоположную оконечность огромной залы, – в ней лестницы не было, но был очень большой камин, жарко натопленный и распространявший около себя веселое тепло. Утеплен был и пол – щедро устлан соломой: она согревала ноги и к тому же глушила шумы передвижения. Из сказанного понятно, что хуже всего отапливался восточный угол помещения, и действительно я заметил, что монахи, которых работало меньше, нежели имелось в скриптории письменных столов, старались не садиться близко к восточной башне. Когда же немного погодя я увидел и понял, что лестница в восточной башне единственная из всех не обрывается, доходя снизу до скриптория, а ведет и выше – на библиотечный этаж, я задумался: а не был ли столь хитроумен тайный расчет создателей, чтобы при подобном неравномерном нагреве залы монахи оказывались всегда принуждены держаться подальше от этой лестницы, и не могли бы любопытствовать, и не затрудняли бы библиотекаря надзор за доступом в книгохранение? Но, вероятно,

слишком уж далеко завели меня подозрительность и желание походить, как обезьяна, на наставника, ибо сразу же и самопроизвольно я возразил себе, что подобный расчет совершенно теряет смысл в условиях летнего времени, если только не думать о том, – снова нашелся я, говоря сам с собою, – что летом именно на эту сторону попадает больше всего прямого солнца, а следовательно, и летом тоже все должны стараться сесть отсюда подальше.

Стол покойного Венанция помещался напротив камина и был, наверное, одним из самых здесь удобных. В ту пору еще я лишь малейшую частицу своей жизни отдал скрипторию, однако гораздо большую часть жизни я посвятил ему впоследствии и по себе знаю, какие телесные страдания приносит писцу, рубрикатору или изыскателю долгий зимний день, проведенный за письменным столом, когда коченеют скрюченные пальцы на стилосе (притом, что и в самой нормальной температуре через шесть часов работы у большинства людей пальцы сводит мучительнейшей «монашьей судорогой»), а указательный палец ноет так, как будто по нему били молотками. В чем и коренится причина того, что на полях различных рукописей мы здесь и там встречаем фразы, оброненные писцом между делом, как знаки претерпеваемых им, а иногда и нестерпимых страданий, к примеру, такие: «Слава тебе Господи, начинает темнеть», или: «Эх, в эту бы пору толику доброго вина!», или в таком духе: «Сегодня холодно, ничего не видно, пергамент волосатый, и выходит скверно». В старой пословице сказано: пером правят три пальца, а работает все тело. И работает, и устает, и болит.

Но я рассказывал о столе Венанция. Он был небольшой, как и прочие столы, расставленные под окнами восьмиугольного колодца и предназначенные для исследовательской работы, в то время как более просторные столы, расположенные вдоль внешних окон, отводились рисовальщикам и копиистам. Хотя надо заметить, что и Венанций держал на столе подставку – вероятно, ему были нужны для работы какие-то одолженные монастырем рукописи, которые в

то же время переписывались. Под столом была еще одна, низкая полка, где валялись какие-то переплетенные листы, все исписанные по-латыни. Я догадался, что это последние переводы Венанция. Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же лежало несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке – сочинение, над переводом которого Венанций трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что то была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть Апулея, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом.

«Как это Венанций переводил подобную книгу?» – спросил Вильгельм у подошедшего Беренгара.

«Перевод заказан аббатству миланским синьором в обмен на преимущественное право производства вин для некоторых восточных областей». – Беренгар неопределенно махнул рукой вдаль. Но тут же спохватился и добавил: «Не подумайте, будто аббатство торгует услугами. Но эту ценную книгу из собрания венецианского дожа, получившего ее от византийского императора, заказчик предоставляет нам с правом копирования, так что один экземпляр перевода может остаться в библиотеке».

«Значит, библиотека не пренебрегает и сочинениями язычников?» – спросил Вильгельм.

«Библиотека вмещает все – и явь, и блажь», – прозвучал вдруг голос у нас за плечами. Это был Хорхе. Я снова поразился (хотя безмерно больше предстояло поражаться в последующие дни) его нежданному появлению. Старик вырастал из-под земли, как будто не мы для него были незримы, а он для нас. Я пожал плечами – что делать слепому в скриптории? – но вскоре убедился, что Хорхе вездесущ, он непонятным образом оказывался в любом помещении аббатства. И в скриптории проводил довольно много часов – на

лавке у очага, как будто надзирая за происходящим в зале. Однажды при мне он громко вскричал: «Кто идет?» – и повернулся. Никаких звуков вроде не было, но через некоторое время действительно появился Малахия, который, неслышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи питали к Хорхе безграничное уважение и разбирали с ним темные места, схолии, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, впериваясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы, целехонькие у него в памяти, и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы, и каковы видом камни в стенах Иерусалима небесного, и что аримаспы^[72] на землеводческих картах должны помещаться вблизи владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем – узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно.

Однажды я услышал, как он помогает кому-то из схолиастов перетолковывать найденные у Тихония рекапитуляции из Св. Августина в духе как можно более далеком от донатистской^[73] ереси. В другой раз он диктовал собравшимся комментаторам список отличий еретиков от раскольников. Затем объяснял зашедшему в тупик изыскателю, какую именно книгу из библиотечного каталога он должен себе заказать и приблизительно на какой странице там приводятся необходимые сведения, добавляя при этом, что вышеозначенную книгу библиотекарь ему обязательно выдаст, так как она числится среди трудов боговдохновенных. А насчет другой книги, я слышал, он предостерегал окружающих, что ее незачем и заказывать, потому что хотя она точно занесена в каталог, но в действительности изгрызена мышами более полувека тому назад и неминуемо распадется в порошок под пальцами первого, кто до нее дотронется. В общем, Хорхе – это была олицетворенная память книгохранилища, живой дух скриптория. И

поминутно он обрывал любые попытки монахов перекинуться несколькими словами. «Утихните и поспешайте засвидетельствовать истину, ибо близятся времена!» – напоминал он о приходе Антихриста.

Столь же сурово Хорхе пресек и нашу беседу. «Библиотека содержит свидетельства истины и свидетельства лжи», – возгласил он.

«Ну да, конечно, Апулей с Лукианом повинны в лживых вымыслах, – сказал на это Вильгельм. – Но их вымыслы содержат, под покрывалом неестественности, наидобрейшую мораль, ибо учат нас, сколь дорого приходится платить за допущенные ошибки. К тому же я думаю, что в повести о перерождении человека в осла может подразумеваться перерождение души, впавшей в греховное состояние».

«Возможно», – ответил Хорхе.

«Однако теперь я начинаю понимать, отчего Венанций во время той беседы, о которой рассказывал вчера, так занят был вопросами комедии. И в самом деле ведь такого рода сказки могут быть уподоблены комедиям древности. И в этих сказках и в тех комедиях повествовалось не о людях воистину живых – как принято в трагедиях, – а о вымышленных; и Исидор их обманными провозвещает: “Там сказанья поэтические наобум перепеваются, отчего показываются дела не *бывые*, а попросту *лживые*”».

«Речь шла не о комедиях, а о позволительности смеха», – нахмурившись, сказал Хорхе. А между тем я прекрасно помнил, что когда Венанций ссылался на этот разговор, Хорхе утверждал, что забыл все до слова.

«А, – безразлично отозвался Вильгельм, – а я так понял, что вы говорили о лживых поэтических вымыслах и остроумных загадках».

«Мы говорили о смехе, – сухо ответил Хорхе. – Комедии создавались язычниками ради понуждения слушателей к смеху, цель весьма предосудительная. Иисус Господь наш никогда не изъяснялся ни комедиями, ни баснями, но единственно – наипрозрачайшими

притчами, где поучал через аллегорию, как обрести себе царствие небесное, да будет так, во веки веков, аминь».

«Хотелось бы понять, – сказал Вильгельм, – почему вы так противитесь предположению, что Иисус, хотя бы изредка, смеялся. Я уверен, что смех наипрекраснейшее средство, подобное ваннам, для излечения гуморов и телесных недугов, в частности меланхолии».

«Ванна превосходнейшее дело, – ответил Хорхе. – И Аквинат^[74] рекомендует ванны для избавления от печали. Сия последняя может быть расценена как предосудительная страсть, когда не обращена на зло, искоренимое отважной борьбой с ним. Ваннами уравниваются гуморы. А смех сотрясает тело, искажает лицо и уподобляет человека обезьяне».

«Обезьяны не смеются, смех присущ одному человеку, это признак его разумности», – отвечал Вильгельм.

«Признак разумности человека – это и дар речи, однако речью можно оскорбить Творца. Не все присущее человеку добронравно. Смех свидетельствует о глупости. Смеющийся и не почитает то, над чем смеется, и не ненавидит его. Таким образом, смеяться над злом означает быть неготовым к борьбе с оным, а смеяться над добром означает не почитать ту силу, которою добро само распространяется. О чем есть в нашем Правиле: „Десятая степень послушания, се: смехотворному порыву легко не предаваться, ибо сказано: “Смех глупых точно треск хвороста под котлом“»

«Квинтилиан, – перебил мой учитель, – говорит, что из панегириков смехотворное надо исключить, торжественности ради, но в других обстоятельствах – приветствовать. Тацит одобряет иронию Кальпурния Писона, Плиний Младший пишет: „Когда же притом смеюсь, веселюсь, играю, я человек“».

«Все они были язычники, – отвечал Хорхе. – В Правиле сказано: „Глумление же словесное, празднословие и смехотворчество к вековечному изгнанию из любых наших мест обещаются, и вышеозначенным словесам учащегося разверзать не дозволено уста“».

«Но ведь уже после того, как проповедование Христово возобладало на земле, Синесий из Кирены провозгласил, что в божественности гармонично породнены комическое и трагическое, а у Гелия Спациана говорится об императоре Адриане, муже возвышенного нрава и духа *naturaliter*^[75] христианского, что он умел чередовать состояния веселости с состояниями величественности. Наконец и Авсоний нас побуждает разумно соотносить меру серьезности с мерой увеселения».

«Однако Павлин Ноланский и Климент Александрийский предостерегали против подобных дурачеств, и Сульпиций Север свидетельствует, что Св. Мартин никогда и никем не был виден ни в свирепости, ни в веселии».

«Но он припоминает и у этого святого высказывания *spiritualiter salsa*^[76],» – вставил Вильгельм.

«Быстрые, ловкие, но не смехотворные. Св. Евфраим создал паренезу против монашеского смеха, и в своем „*De habitu et conversatione monachorum*“^[77] требует избегать непристойностей и зубоскальств, как укусов ядовитого аспида!»

«Но Гильдеберт смех дозволял: „Допускаются после дельных занятий и забавные, токмо степенные и самородные“. И Иоанн Солсберийский не возражал против умеренной веселости. И, наконец, Екклесиаст, из коего вы только что приводили стих, послуживший опорой вашему Правилу, где говорится, что смех присущ дуракам, в других стихах допускает правомерность молчаливого смеха: веселия спокойной души».

«Душа спокойна только когда созерцает истину и услаждается сотворенным добром; а над добром и над истиною не смеются. Вот почему не смеялся Христос. Смех источник сомнения».

«Но иногда сомнение правомерно».

«Не нахожу. Почувяв сомнение, всякий обязан прибегнуть к авторитету – к слову святого отца либо кого-нибудь из докторов – и отпадет причина сомневаться... Вы насквозь пропитались различными спорными доктринами, подобно тем парижским

логикам... Но Св. Бернард сумел достойно противостоять тому кастрату Абельяру, который пытался любые вопросы подчинить холодному, безжизненному решению рассудка, не просвещенного Св. Писанием, и позволял себе по собственному разумению судить, что так, а что этак. Само собой понятно, что тот, кто воспринимает от него его опаснейшие идеи, способен также и попустительствовать игрищам безрассудного, который осмеивает то единственное, чему необходимо поклоняться как наивысшей истинности, данной единожды и навечно всем и каждому. Предаваясь смеху, безрассудный тем самым провозглашает: “Deus non est^[78]”».

«О преподобный Хорхе, мне представляется, вы неправы, говоря о кастрированном Абельяре, ибо вам известно, что к этому горестному состоянию он был сведен чужою подлостью...»

«Нет, собственной греховностью. Тщеславием собственных упований на человеческий разум. Ради возвеличения разума осмеивалась вера простецов, тайны божественности бесстыдно оголялись (во всяком случае, к этому шло, глупцы, кто стремились к этому!); сомнения, касавшиеся высочайших представлений, обсуждались бестрепетно, и стало входить в обычай насмеяться над Св. Отцами, полагавшими, что подобные сомнения надлежит приглушать, а не разрешать».

«Я не согласен, преподобный Хорхе. Господу желательно, чтобы мы упражняли наши рассудки на тех неясностях, относительно коих Священное Писание дает нам свободу размышлений. И когда нам предлагают уверовать в некое положение, следует прежде всего продумать, приемлемо ли оно, поелику наш помысел сотворен в свет помыслов Божиим, и что угодно нашему помыслу, не может не быть угодно Господу; в то же время о высшем помысле нам известно только одно – лишь то, что посредством аналогии, а чаще всего продвигаясь от противного, мы переносим на него из построений собственного разума. Так что теперь и вы ясно видите, что ради избавления от абсурдных предпосылок – смех может составить собой самое удачное средство. Часто смех служит еще и для того,

чтоб наказывать злоумышленников, выставляя напоказ их скудоумие. Известно о Св. Мавре, что когда язычники погрузили его в кипящую воду, он посетовал, будто вода холодновата; градоначальник язычников по глупости опустил в котел свою руку, попробовать воду, и обварился. Славная выдумка святого великомученика, осмеявшего гонителей истинной веры!»

Хорхе ухмыльнулся. «И в том, что рассказывают проповедники слова Божия, находится место нелепостям. Святой, погруженный в кипящую воду, терпит за Христа, удерживает крики боли, а не ребячится с язычниками!»

«Видите? – сказал Вильгельм. – Этот рассказ, на ваш взгляд, противоречит здравому смыслу и вы заявляете, что он смешон! Значит, вы, хотя и беззвучно, и не допуская к шевелению ваши губы, смеетесь над рассказавшим и меня призываете к тому же: не принимать рассказ серьезно. Вы смеетесь над смехом. Однако смеетесь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



Примечания

1

Переводчик благодарит П. Д. Сахарова за ценные консультации.

[Вернуться](#)

2

Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l'Abbaye de la Source, 1842. *(Прим. автора.)*

[Вернуться](#)

3

Монастырь (*лат.*). Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, – *прим. перев.*

[Вернуться](#)

4

Монтален, набережная Сент-Огюстен (у моста Сен-Мишель) *(лат.)*

[Вернуться](#)

La Repubblica, 22 сент. 1977 г. (Прим. автора.)

[Вернуться](#)

6

Альберт Великий (Альберт граф Больштедтский, ок. 1193–1280) – выдающийся теолог и философ, доминиканец.

[Вернуться](#)

7

Парацельс (*псевд.*; *наст. имя* – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) – знаменитый врач и алхимик.

[Вернуться](#)

8

Liber aggregationis seu liber secretonim Alberii Magni, Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Fletebrigge, MCCCCLXXXV. (*Прим. автора.*)

[Вернуться](#)

9

Les admirables secrets d'Albert le Grand, A Lyon, Chez les Hèritiers Beringos, Freres, à l'Ensigne d'Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalislique du Petit Albert, A Lyon, ibidem. MDCCXXIX. *(Прим. автора.)*

[Вернуться](#)

10

Глоссы – толкования текста (изначально – текста Библии),
вписываемые между строк или на полях.

[Вернуться](#)

11

Схолия (*греч.*) – комментарий, пояснение.

[Вернуться](#)

12

Кемпиец (Фома Кемпийский, 1379–1471) – бенедиктинский писатель-схоласт, автор «Подражания Христу», сочинения, в котором излагается набор общехристианских истин и проповедуется смирение.

[Вернуться](#)

13

Schneider Edouard. Les heures Bénédictines. Paris, Grasset, 1925.
(Прим. автора.)

[Вернуться](#)

14

в зеркале и в загадке; в отражении и иносказании (*лат.*)

[Вернуться](#)

дословно (лат.)

[Вернуться](#)

16

Лупанарий, Лупанар (*лат.*) – публичный дом, от lupa («волчица») – блудница, проститутка.

[Вернуться](#)

17

Понтифик (*лат.*) – в Древнем Риме член коллегии жрецов; в христианской церкви – епископ, прелат, впоследствии – папа (почетное звание епископа); папа римский.

[Вернуться](#)

Капитул – коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре.

[Вернуться](#)

временно (*лат.*)

[Вернуться](#)

20

Декреталии (эпистолы, декретальные эпистолы) – письма или послания папы в ответ на вопрос, обращенный к нему по частному делу, но разрешение которого может служить общим правилом.

[Вернуться](#)

21

Марсилий Падуанский (1275–1343) – политический мыслитель, утверждавший в трактате «Защитник мира» идею общественного договора, выступавший против притязаний папы на светскую власть. В 1327 г. был отлучен от церкви.

[Вернуться](#)

Бозций Апиций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524) – христианский философ и римский государственный деятель, автор «Утешения философией» и переводов на латинский язык логических сочинений Аристотеля. Бозций – проводник в Европе идей греческой философии; его толкования аристотелевских сочинений в неоплатоническом духе оказали определяющее влияние на развитие средневековой мысли.

[Вернуться](#)

23

Катон (Марк Порций К. Старший, 234–149 гг. до н. э.) – римский консул, писатель, поборник строгих патриархальных нравов.

[Вернуться](#)

24

Лукреций (Сп. Л. Триципитин) – римский сенатор и городской префект при Тарквинии Гордом, консул в 509 г. до н. в., символ доблести и мужества.

[Вернуться](#)

Ирландия.

[Вернуться](#)

Нортумберленд (самое северное графство Англии).

[Вернуться](#)

обращения к детям, подросткам и женщинам (*греч.*).

[Вернуться](#)

Крипта – часовня под храмом, служившая для захоронения или для размещения церковных сокровищ.

[Вернуться](#)

распутник (греч.)

[Вернуться](#)

30

Бэкон Роджер (ок. 1214–1292) – францисканский философ, считавший первостепенным эмпирическое изучение естественных наук. По легенде, изобретатель телескопа, пороха, очков.

[Вернуться](#)

Оккам – см. Вильгельм Оккамский.

[Вернуться](#)

Алан Лилльский («Универсальный доктор», ок. 1128–1202) – один из величайших философов и поэтов средневековья, бенедиктинец (цистерцианец).

[Вернуться](#)

Исидор Севильский (Гиспаленский, 570–636) – испанский епископ, выдающийся ученый, автор богословских, политических, физических и исторических сочинений.

[Вернуться](#)

34

Буридан Жан (XIV в.) – схоласт, ректор Парижского университета, ученик Оккама, автор комментариев к «Этике» Аристотеля, один из главных представителей номинализма.

[Вернуться](#)

общее понятие (*лат.*)

[Вернуться](#)

36

Суккуб – 1) бес в обличье женщины, соблазняющий спящих; 2) тот или та, кто сочается во сне с инкубом.

[Вернуться](#)

Вильгельм Оккамский (Уильям Оккам, 1285–1349) – знаменитый францисканский философ и политик, главный представитель средневекового номинализма.

[Вернуться](#)

Монастырь без книг (лат.)

[Вернуться](#)

Андрогин (*греч.* «мужежена») – гермафродит.

[Вернуться](#)

40

Инкуб – бес в обличье мужчины, соблазняющий спящих. См. также суккуб.

[Вернуться](#)

41

Мантихор (искаж. от *перс.* людоед») – баснословный индийский зверь с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона (по Плинию Великому).

[Вернуться](#)

Амфисбена (*греч.*) – по Плинию Великому, Лукану – обоюдоглавая змея.

[Вернуться](#)

43

Дипсада (*греч.*) – ядовитая змея, укус которой якобы вызывал смертельную жажду (по Плинию Великому, Лукану, Силию Италику).

[Вернуться](#)

44

Армагеддон (*евр.*) – место Страшного Суда (Откровение Св. Иоанна, 16:16).

[Вернуться](#)

по желанию (*лат.*)

[Вернуться](#)

разъятые члены (*лат.*)

[Вернуться](#)

47

великому уподобление жалкого (*лат.*)

[Вернуться](#)

Минориты («младшие братья») – ветвь францисканского ордена. Исповедовали крайний аскетизм.

[Вернуться](#)

«Древо крестной жизни» (лат.)

[Вернуться](#)

«Братья и бедные отшельники отца Целестина» *(лат.)*

[Вернуться](#)

Полубратья (фратичелли) – монахи-францисканцы низшего разряда, в наибольшей мере сохранявшие свои мирские связи, но в то же время считавшиеся монахами.

[Вернуться](#)

Бегины (бегарды) – имя, принимавшееся в XIII и XIV вв. францисканцами-**полубратьями**, а также братьями и сестрами Свободного Духа, когда они, спасаясь от преследований инквизиции, примыкали к мирским женским союзам бегинок (полумонашеский орден, существующий с XII в.) Но и в новом качестве бегины подвергались гонениям инквизиции.

[Вернуться](#)

Пребенда – материальные средства, получаемые духовными лицами в виде земельных владений, домов для жительства клира, доходов по церкви, денежного жалованья.

[Вернуться](#)

Михаил Пселл (1018–1096/97) – знаменитый византийский писатель, автор историко-мемуарного сочинения «Хронография».

[Вернуться](#)

55

аль-Хорезми Мухаммед бен Муса (787 – ок. 850) – автор основополагающих трактатов по арифметике и алгебре, переведенных на латынь в XII в.

[Вернуться](#)

в виде загадки (лат.)

[Вернуться](#)

Вот невиданное дело:
На небо земля взлетела,
Выше неба залетела!

(старонем.)

[Вернуться](#)

Облако-то под ногами,
А земля над облаками –
Чудеса за чудесами!

(старонем.)

[Вернуться](#)

примеры (*лат.*)

[Вернуться](#)

Ареопагит Псевдо-Дионисий – греческий философ VI в.

[Вернуться](#)

61

стекла в металлической оправе (*лат.*)

[Вернуться](#)

стекла для чтения (*лат.*)

[Вернуться](#)

Благословите (*лат.*)

[Вернуться](#)

Едят убогие (*лат.*)

[Вернуться](#)

65

Пруденций (Аврелий II Клеменс, ок. 348 – ок. 410) – римский христианский поэт, родом из Испании, автор гимнов, аллегорических произведений и поэмы о мучениках – «Перистефанон» («Книга о венцах»).

[Вернуться](#)

«Тебе, Господи» (*лат.*)

[Вернуться](#)

67

Респонсорий (*богослужебн.*) – ответная партия в антифональном, т. е. попеременном пении двух хоров.

[Вернуться](#)

Палимпсест (*греч.*) – рукопись, нанесенная на писчий материал (гл. обр. пергамент) после того, как с него счистили прежний текст.

[Вернуться](#)

Стагирит – прозвище Аристотеля по месту его рождения – Стагире.

[Вернуться](#)

70

по природе своей (лат.)

[Вернуться](#)

Перев. М. Л. Гаспарова

[Вернуться](#)

Аримасы – мифический скифский народ одноглазых (по Геродоту, Помпонию Меле, Авлу Геллию).

[Вернуться](#)

Донатисты (IV–V вв.) – последователи карфагенского епископа Доната, настаивавшие на личном совершенстве священнослужителя как залого действия благодати. Непримируемо относились к любым провинностям священнослужителей, в том числе к совершенным до прихода их в общину донатистов.

[Вернуться](#)

74

Аквинат (Фома Аквинский, 1225–1274) – знаменитый схоласт-доминиканец, систематизатор науки, автор компендиумов («сумм»): «Сумма против язычников» (1258) и «Сумма теологии» (1261).

[Вернуться](#)

по существу (*лат.*)

[Вернуться](#)

солоноватые (*лат.*)

[Вернуться](#)

«О нравах и беседах монашеских» (лат.)

[Вернуться](#)

«Бога нет» (*лат.*)

[Вернуться](#)

[Вернуться](#)

Комментарии

1

Древняя антология, или Собрание древних трудов и сочинений любого рода, как-то: писем, записок, эпитафий, с немецкоязычным комментарием, примечаниями и исследованием предодобного отца, доктора теологии Жана Мабийона, пресвитера монашеского ордена Св. Бенедикта и конгрегации Св. Мавра. Новое издание, включающее жизнь Мабийона и его сочинения, а именно записку «О Хлебе причастия, пресном и квасном» к Его высокопреподобию кардиналу Бона. С приложением сочинений Ильдефонса, епископа Испании, на тот же предмет, и Евсебия Романского к Теофилу Галлу послания «О почитании неведомых святых»; Париж, типография Левек, при мосту Св. Михаила, 1721, с разрешения короля (*лат.*).

[Вернуться](#)

2

Михаил Цезенский (из Цезены, ок. 1270–1342) – францисканский деятель, сыгравший крупную роль в истории ордена. Изначально принадлежал к ортодоксальному крылу францисканства – конвентуалам, вследствие этого отрицательно относился к учению и деятельности спиритуалов. Конвентуалы, осуществлявшие в начале XIV в. руководство орденом, выдвинули Михаила на должность генерального министра. Тогда же новый папа Иоанн XXII открыл борьбу с либеральными течениями среди францисканцев и издал буллы *Ad condilorem canonum* (8 дек. 1322) и *Cum inter nonnullos* (12 нояб. 1323), настаивая на том, что и францисканцы обладают правом собственности; это явилось подрывом самых оснований ордена. Уильям Оккам, а вслед за ним Михаил Цезенский с Бонаграцией Бергамским встали на защиту традиционного учения. Так Михаил стал главой догматической оппозиции папе. В 1327 году он был призван папой в Авиньон и над ним было назначено следствие. Не дожидаясь приговора, Михаил бежал ко двору Людовика Баварского, откуда продолжал борьбу с папой. В 1329 году был заочно осужден и лишен сана. К концу жизни Михаил был предан Людовиком. Последующим папам легко удалось склонить францисканский орден к повиновению курии и к отказу от прежних убеждений.

[Вернуться](#)

3

Бенедиктинский орден – самый богатый и сиятельный монашеский орден средневековья. Основан Св. Бенедиктом Пурсийским в 529 г. в Монтекассино. Согласно уставу («Правилу») бенедиктинцам вменялся в обязанность труд, как физический (земледелие), так и – в первую очередь – умственный: воспитание юношества (послушников), перевод, толкование и изготовление книг, собирание библиотек. Внутри ордена существовало несколько мощных ветвей (клюдийцы, цистерцианцы и др.). Всего в XII–XIV вв. насчитывалось более 15 тысяч бенедиктинских монастырей. Именно благодаря ученым-бенедиктинцам до наших дней сохранились шедевры древнегреческой, древнеримской и средневековой литературы.

[Вернуться](#)

4

Францисканский орден – нищенствующий монашеский орден, учрежденный Франциском Ассизским (1182–1226). Франциск углубил идею бедности, изначально присутствовавшую в христианстве, и из отрицательного признака (отречение от мира) вывел положительный идеал (бедность как подражание Христу). Традиционное монашеское отшельничество Франциск заменил апостольским миссионерством. Францисканец, отрекаясь от мира, должен был оставаться в миру.

Однако к середине XIII в. францисканцы стали верными слугами папской курии и вместе с доминиканцами осуществляли инквизицию над еретиками. Появились францисканские монастыри. Дошло до того, что нищенствующие францисканцы собирали церковные подати в пользу Рима.

Тогда же внутри ордена выделилась партия, не желавшая допускать отступлений от духа и устава ордена. Руководясь учением Иоахима Флорского, эта партия отходит от ордена и принимает имя «братьев Свободного Духа» («мужей духа», «спиритуалов»). Во главе «спиритуалов» становится Пьетро ди Джованни Оливи. Отпадает от папы и другая, более умеренная часть ордена во главе с Уильямом Оккамом. Михаилом Цезенским и Понаграцией Бергамским. Эта часть заключает союз с противником папы – императором Людовиком Баварским.

[Вернуться](#)

5

Флагелланы («бичующиеся») – участники покаянного религиозного движения, широко распространенного в Западной Европе в XIII–XV вв. Сходны с пенитентами («кающимися»), но те бичевали друг друга, тогда как флагелланы бичевали себя сами. По словам их духовного предтечи Петра Дамиани (XI в.), самоистязующиеся достигали четырех целей: 1) подражали Христу; 2) принимали мученичество; 3) смиряли плоть; 4) искупали грехи. В пример ревностного самобичевания Петр Дамиани ставит Св. Доминика, основателя доминиканского ордена.

[Вернуться](#)

[Вернуться](#)